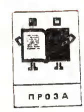
Василий
АФОНИН





ПОВЕСТЬ

ПОЙМА

Пролог

Стылым апрельским утром оглохшая от брачных песен Серая тетерка поднялась с тока и, низко протянув над жнивьем, опустилась в редкий березняк за краем полосы. Сложив крылья, она прислушивалась, несколько склонив голову на вытянутой шее, а успокоясь, стала ходить взад-вперед в прошлогодней траве, выискивая место посуше. Под большой наклонной кочкой, с которой до земли полукружьем свисала осока-резучка, тетерка присела и опять долго вслушивалась, поворачивая голову на чуткой шее. Но стояла тишина, только иногда, усиливаясь, шумел ветер по верхушкам берез да шуршала под палыми листьями мышь.

Тетерка встала и, срывая клювом сухие травинки, начала укладывать их под кочкой, образуя гнездо. Когда гнездо было готово, тетерка села, обживая его, и через несколько дней отложила на теплое дно девять продолговатых крапленых яиц. Теперь она покидала гнездо, когда подходило время кормежки, уходя, закрывала яйца, чтобы они не остыли, и, наскоро поклевав найденный корм, торопилась обратно. Она похудела, редко подымалась на крыло, и доходившие по утрам с тока резкое чуфыканье и хлопанье крыльев уже не беспокоили ее.

Вокруг кочки и дальше сквозь полегшую, жухлую траву пробивались зеленые стрелы молодой; на березах набухали, лопались почки, но Серая тетерка ничего этого не замечала. Целыми днями сидела она как бы в полудреме, слыша, однако, все, что делалось вокруг. Со стороны глухого, заросшего кустарником оврага, со дна которого по вечерам подымался сырой туман, гнездо надежно защищала широкая кочка, сверху густо нависала осока, скрывая птицу от хищного глаза, и Серая тетерка радо-

Рисунки
В. ЮДИНА.

валась, что так удачно выбрала для гнезда место. Иногда дувший с восхода ветер доносил до березняка шум работающих тракторов, и этот шум слегка беспокоил птицу, она вспоминала зиму: сухой морозный день, приглушенный рокот трактора, неслышные почти выстрелы и окровавленные перья под березой на снегу.

Прошлым летом тетеревиный выводок, среди которого находилась Серая тетерка, до поздней осени прожил в дальнем конце березняка, слетая вечерами на овсяное поле. А когда хлеба убрали и скирдовавшие солому люди ушли, выводок Серой тетерки объединился с большим выводком, который жил по другую сторону овсяного поля,— образовалась стая.

Оба выводка никем не были замечены осенью.

Всю зиму стая прожила вблизи своих гнездовий, кормясь на старых березах, за краем полосы, на которой стояли покрытые снегом скирды соломы. За соломой приехали в конце февраля, когда улеглись метели и ясные, долгие стояли дни. В то утро стая кормилась на высокой раскидистой березе, когда показался трактор; свернув с дороги, он пошел по полосе, приминая гусеницами снег.

— Косачи,— сказал себе тракторист и вытащил из-за спинки сиденья ружье. Он сбавил обороты и на медленном ходу повел трактор так, чтобы скирда скрывала его. Трактор медленно приближался. Тетерева насторожились.

Но трактор уже урчал за скирдой, солома глушила рокот, птицы успокоились и продолжали кормиться, переговариваясь.

Тракторист осторожно сдал назад, чтобы кабина вышла из-за скирды, помедлил чуть и стал постепенно прибавлять обороты, чтобы птицы привыкли к шуму и чтобы набравший силу мотор заглушил выстрелы.

«Метров шестьдесят будет»,— прикинул до березы тракторист, отодвинул на ширину ладони дверцу и поднял двенадцатого калибра стволы.

Выстрела птицы не услышали. Серая тетерка увидела, как сидевший на нижней ветке молодой, из одного с ней гнезда косач, роняя перья, упал в снег. Затем — второй.

Торопясь, тракторист перезаряжал ружье. Если бы он сшиб верхнего косача, то, падая, задевая ветки, тот сразу же спугнул бы стаю, но тракторист не впервой скрадывал таким образом тетеревов и потому ударил нижнего. Он стрелял, а сидевшие на верхних ветках птицы, вытянув шеи, смотрели, как падают в снег их собратья. Почуяв неладное, тревожно заквохтав, Старая тетерка подняла стаю и увела ее за дальние глухие овраги.

— Восемь штук,— сбавив газ, сказал тракторист, вылез из кабины, утопая в снегу, пошел к березе. Он не смог сразу забрать всех птиц, и ему пришлось сходить еще раз.

На обратном пути он все поглядывал на сиденье возле себя, где лежали убитые птицы. Подъезжая к деревне, он прикрыл их старой, замасленной фуфайкой, которую подстилал под себя, когда ремонтировал трактор. Теперь тракторист старался, чтобы за соломой посылали только его, и дважды еще подкрадывался к стае, увозя по нескольку птиц. Остальные тетерева (их оставалось восемь: три косача и пять тетерок) до таяния снегов прожили за оврагами, а когда появились первые проталины, вернулись к месту прошлогодних гнездовий. На подсохшем, в палом листе бугорке, возле черемухового куста косачи облюбовали ток и каждое утро, затемно, слетались на него, чтобы успокоить в песнях и драке гудевшую по телу кровь. Стылым апрельским утром Серая тетерка спарилась с одним из оставшихся петухов, улетела в березняк и свила первое в своей жизни гнездо. Ток шумел еще несколько дней, а потом подруги Серой тетерки также покинули его и расселились краем березняка, проходившего полосой между оврагами и жнивьем версты на четыре. Оттуда, с дальнего конца березняка, и доходил теперь до тетерки сдержанный пока шум работающих тракторов.

С каждым днем шум приближался, а потом показались и сами трактора. Они шли не по жнивью овсяного поля, а по березняку, оставляя за собой ровное место. Трактора выкорчевывали и сталкивали в овраг березы, чтобы распахать под посев землю. Березняк тянулся полосой саженей на сто, тракторов было пять, впереди двигались три корчевателя, сзади — толкачи.

Так они приблизились к березе, на которой зимой часто кормилась стая. Это была сильная, ветвистая береза, без единого сухого сучка, корни ее глубоко и просторно уходили в землю, земля долго не отпускала их. Береза никак не хотела умирать.

Трактор, который вел молодой парень, с ходу толкнул ее плечом корчевателя, сдвинув кусок коры. Береза чуть дрогнула — и только. От двух-трех таких толчков молодые березки всегда поддавались. Тракторист отвел трактор назад, поднял корчеватель, уперся клыками в ствол и добавил обороты. Трактор взревел, подымаясь на гусеницах, дрожа корпусом, и дрожь эта передалась березе. Тракторист опять отвел трактор, опустил на землю клыки, чтобы подрыть корни, но его остановил подошедший напарник.

— Глуши,— сказал он,— время обедать. Сейчас соку попьем. Где у тебя топор?

Взяв в кабине топор, тракторист сделал на стволе березы пять глубоких зарубок и подставил под одну из них стеклянную банку. От заглушенных машин с посудой в руках шли трактористы. Расставив посуду под зарубы, они расположились тут же под березой, стали есть свой харч, запивая соком. После рева машин стало необычайно тихо, и Серая тетерка, сидевшая на гнезде, слышала, как разговаривают люди.

— На этой березе я косачей зимой стрелял,— сказал один из них.— В феврале, когда солому возили.

Поев, они разошлись по машинам. Мотор взревел, клыки вошли в землю, подрывая корни. Загнав клыки под два толстых корня, тракторист стал подымать корчеватель. Корни рвались, как натянутые канаты. Береза вздрогнула, качнула вершиной и неохотно стала валиться в сторону оврагов, падая, убыстряла ход и с шумом хлестнула ветвями метрах в десяти от гнезда. Серая тетерка втянула голову, оставаясь на гнезде. Подошел толкач, поднял березу на клыки, отнес и сбросил в овраг.

Трактора перешли на другое место, оставив раскорчевку пахарям. Перед вспашкой пахари подожгли с дальнего конца поля стерню и сухую траву по раскорчевке. Ветер тянул с восхода, потрескивала стерня, огонь шел широко и ровно, оставляя за собой черное, покрытое зыбким пеплом пространство. Дым низко стелился над землей, и Серая тетерка почувствовала его, когда огонь был еще далеко. Он приблизился скоро и, сползая к оврагу, охватил изломистой каймой березняк, где находилось гнездо. Серая тетерка с раскрытым от жары клювом, распустив крылья, то бегала вокруг, то садилась на яйца, прерывисто дыша дымом. Огонь был в двух шагах, когда она поднялась и, протянув по краю оврага, ушла в дальний конец его. Улетая, она не видела, как в охваченном огнем гнезде ее треснули и потекли желтком насиженные яйца...

В городе. На Чулым-реку

Всю осень шли дожди, и деревья рано уронили листья. Деревья росли недалеко от дома, и, просыпаясь среди ночи, Лукашин слышал, как шумят они, раскачиваясь на ветру. Лукашин приподымался с дивана, искал ногами тапочки и в одних трусах, зевая, вяло шел к подоконнику, где лежали часы. Прислонясь лбом к прохладному стеклу, он подолгу стоял, глядя на уличные фонари и на деревья.

Лукашин зажигал свет, ложился, подняв с пола не просмотренную с вечера газету. Он нигде не служил, и спешить ему было совершенно некуда. Вставал поздно, пил на кухне чай; помыв посуду, спускался посмотреть — нет ли писем. Иногда ходил на почту, посылал телеграмму или заказывал переговоры. Но телеграммы оставались без ответа, а на переговоры никто не приходил. Раз в два дня Лукашин отправлялся в магазин за продуктами. И все равно по утрам он просыпался с надеждой, что новый день будет не таким, как вчера, случится что-нибудь хорошее, принесут нужную почту или заглянет кто-либо, но день начинался обложным дождем, и мелкий дождь этот так и не стихал до вечера. А вечера стояли еще тягостнее.

В семь часов темнота подступала к окнам; не зажигая света, Лукашин ходил от стены к стене, из кухни в большую комнату, садился к окну и смотрел на улицу, где было все так знакомо.

Сырые, ветреные дни так и держались, пока прямо на талую землю не выпал снег.

Редко, но заходил Яковлев.

— Ну, что, Валя? — спрашивал он, склонив широкое, как у якута, лицо с рыжеватой круглой бородой.— Закончил рукопись, а, Валя?

И покашливал и улыбался, щуря узкие внимательные глаза. Он был умным все-таки мужиком, этот Яковлев, хотя в иные минуты Лукашину было трудно с ним.

Познакомились они год-полтора назад, когда Лукашин жил в соседней области, в деревне у стариков, и писал документальную повесть о работниках лесхоза. Повесть появилась на страницах местного журнала, и Лукашин обрадовался, когда Яковлев, которого он знал по книгам, в одном из последующих номеров этого же журнала откликнулся на повесть коротенькой рецензией. Между ними завязалась переписка, и Яковлев предложил Лукашину переехать в его город.

Лукашин поехал, чтобы познакомиться, они поговорили, и Яковлев пошел по начальству, от которого зависело получение квартиры. Квартиру обещали, более того, Лукашину предоставили возможность самому выбрать дом — сдавалось одновременно несколько зданий. Лукашин был удивлен и обрадован, он не знал людей, которые решали вопрос его переезда в город, мысленно поблагодарил их за доброту.

При получении ордера Лукашина спросили, кто с ним будет жить, он ответил: жена и сын; возможно, родители. Но старики в зиму переезжать не решились, оставаясь до лета в деревне, а жена, жившая с сыном у своих родителей, все затягивала переезд, отговариваясь, потом совсем замолчала, и Лукашин понял, что она не приедет. За время разлада он отвык от жены, но по ребенку скучал, не представляя совсем, каким он стал теперь, в четыре года. Вспоминал, как по окончании учебы поехали они к ее тетке в деревню. Дом стоял в саду, шла осень, листопад. По ночам в открытое окно их комнаты входила прохлада, резко и кисло пахло палым листом, а если дул ветер, листья залетали в комнату, падая на стол, на пол, иногда — в незакрытый кувшин с вином, стоявший возле кровати. Лукашин вставал, отхлебнув вина, садился к окну и слушал, как шарит по саду, шуршит листвой ветер. Целый месяц прожили они в деревне. Лукашин днями бродил по саду, грыз найденные в листве упавшие яблоки, пил вино, читал Бунина, и это было как раз то, что нужно. А потом они жили на частной квартире, роды у жены прошли трудно, ребенок болел, и денег всегда не хватало. По вечерам, чтобы приготовить себе и ребенку, нужно было дожидаться, пока сварят хозяева; и никого не пригласи — в десять часов все двери закрыты, и громко не скажи—слышно через стену, мешаете спать, а ребенок кричит, сладу нет. И за все это отдай тридцать пять рублей в месяц. За год они рассорились с хозяевами, между собой, жена с ребенком ушла к родителям, а он уехал к своим старикам. Может, так было и лучше, бог весть, сколько им пришлось бы жить на частных — ни он, Лукашин, не умел получать квартиры, ни его жена.

Иногда они обменивались письмами, не затевая разговора о совместной жизни в дальнейшем, и только когда вопрос с квартирой был решен, Лукашин написал о необходимости переезда, о сыне, которому нужен отец. Жена отвечала неопределенно, ссылаясь на нездоровье, дальность расстояния, просила денег. Лукашин понимал, что жена также отвыкла от него, что ее пугает и переезд и сама затея начать новую жизнь. Переговоры затянулись, Лукашин дал телеграмму, прося сообщить окончательное решение, жена ответила, что подумает, и опять попросила денег. Денег он послал и напился в тот же вечер. Ему было стыдно перед стариками, в письмах они спрашивали — перевез ли он семью и не нужно ли чего, а тут еще новые знакомые по городу интересовались постоянно его личной жизнью.

— Ваша жена переехала уже? Как, вы все еще живете без семьи?

Их это очень интересовало, и каждому нужно было отвечать. А сосед из квартиры, что справа, раскланиваясь в коридоре, спрашивал:

— Супруга ваша приехала, Валентин Захарыч? То-то я слышал вчера через стену женский голос.

Соседу не давало покоя то, что Лукашин живет один, а занимает большую квартиру. И Лукашин, глядя соседу в переносицу, отвечал, что нет, это не жена, это знакомая заходила к нему, а как только жена приедет, он сразу же сообщит любезному соседу. Поулыбавшись, они расходились. Со зла на жену Лукашин нашел себе женщину, но скоро оставил ее, сказался больным, извинился, просил заходить и надолго впал в полудрему.

Считалось, что он пишет вторую повесть, а он ее и не начинал.

Тогда-то к нему и зашел Яковлев.

— Вот что, Валя,— покашливая, сказал он.— Зиму ты провалял дурака — довольно. Хандра хандрой, а работать надо. Иначе и огород не стоило городить.

Вынул из кармана газету, развернул.

— Не читал? Нет? Так вот, слушай: на севере области вот уже несколько лет ведутся работы по освоению пойменных земель Оби и ее притоков. Работа, как мне кажется, интересная. На освоенных землях предполагается создание целого комплекса хозяйств по выращиванию огородных культур. Да и не только... Я тебе советую поехать на место, посмотреть. Соберешь материал, а осенью сядешь за обработку. Можно поездку оформить через газету, время от времени станешь посылать очерки. Если не желаешь связывать себя, поезжай самостоятельно. Денег соберем, разбогатеешь — рассчитаешься.

И Лукашин поехал.

Он поехал в последних днях марта, в городе пылил асфальт, в полях еще лежали снега, и много — в тени перелесков. В выбоинах проселочной дороги стояла грязная вода, попадавшиеся навстречу грузовики были забрызганы по ветровое стекло. С утра в колеях хрупал ледок, к полудню ощутимо теплело, и заметно было, как над подсыхающими проталинами пашен дрожал, струился нагретый воздух. На место приехали вечером.

— Чулымск,— сказал шофер, взял путевой лист и пошел в диспетчерскую, криво переставляя затекшие ноги.

Лукашин вышел из автобуса. Перед тем как идти искать гостиницу, долго стоял на берегу. Чулым-река, идущая из красноярских болот, поворачивала здесь и широко уходила на север, к Оби. Из-за лесистого правого берега тянул мокрый ветер, гнул ветлы, рябил наискось верховую воду, подгоняя вытаявшее корье от прошлогоднего лесосплава к бокам вмерзших в лед барж. А на левом крутом берегу стоял поселок Чулымск. Поселок большой... Избы, сараи с потемневшими копешками на них, огороды уходили от берега к перелескам, в центре, над тесовыми крышами, подымалось несколько двухэтажных кирпичных зданий, левую часть поселка — если встать спиной к реке — охватывал густой, с галочьим граем березняк; высокие, с гибкими досками деревянные тротуары тянулись по обеим сторонам улиц, возле тротуаров росли березки.

Ночевал Лукашин в гостинице. Гостиница уже не отапливалась, в щели скособоченных рам тонко тянул ветер. Лукашин пожевал взятой с собой колбасы; не снимая свитера и тренировочных брюк, влез под одеяло, закрылся с головой и стал дышать, чтобы согреть себя. Всю ночь у него мерзли ноги. Утром пошел разыскивать контору и все вздрагивал — никак не мог согреться ходьбой. Контора находилась на улице Полевой, как объяснили ему, а улица Полевая начиналась от конца березняка, который охватывал поселок с левой стороны, и шла краем поселка до берега Чулым-реки. Там, в начале улицы, в саженях пятидесяти от березняка, стоял фасонистый двухэтажный дом, обшитый узкой строганой планкой, на чуть желтоватом фоне обшивки далеко виделись синие наличники окон. За штакетником ограды, отделяющей контору от улицы, как возле доброй крестьянской избы, разбит был ухоженный палисад, над шиферной крышей высоко подымалась радиомачта, над воротами при входе чуть отклонялась назад узкая коричневая полоска жести: «Передвижная механизированная колонна № 21 (ПМК № 21)».

Контора помещалась на втором этаже; внизу — клуб, библиотека. По деревянным ступеням Лукашин взбежал наверх, прошел по коридору мимо дверей с табличками «Диспетчерская», «Бухгалтерия», «Плановый отдел», вошел в приемную и спросил, глазами указывая на обшитую дерматином дверь.

— Один,— сказала секретарша,— можно войти. А вы по какому вопросу?

Лукашин постучал в косяк и, услышав из глубины голос, вошел. В небольшом, в два окна, кабинете лицом к двери, за столом с телефоном, пепельницей и календарем, с подписанными и неподписанными бумагами сидел начальник колонны старик Бадаев. Лукашин поздоровался и назвал себя. Бадаев встал навстречу. Качнулся, ступив на левую ногу и левой же рукой опираясь на столешницу, протянул свободную, здороваясь.

— А мы вас ждем,— сказал он и коротко засмеялся. Сиплый, отрывистый смех его походил на лай старого, больного и доброго пса.— Садитесь.

Начальник колонны

В другом конце улицы Полевой, на берегу Чулым-реки усадьба. Городьба, огород, три старых березы. Изба стоит окнами на реку, и по веснам видно, как уходит лед, а потом все лето и осень, до самых заморозков, будут идти груженые и порожняком баржи, плоты, легкие речные катера. Когда спадала вода и подсыхал берег, прямо из калитки хозяин спускал — устанавливал лестницу с широкими ступенями-сходнями. Там, внизу, в двух шагах от последней ступени, прихваченная цепью к вбитому в землю железному штырю, обсыхала перевернутая или покачивалась на мелкой волне смоленая лодчонка.

Осенними днями в выходные можно было сесть в нее, поставив на носу ведерко или корзину, перейти на веслах реку, привязать лодку за таловый куст и походить, насколько позволит нога, поискать на зиму грибов, рябинки, других ягод. Или в листопад выкопать два-три кустика малины, шиповника, привезти и посадить в широкую начатую гряду за двором. Хозяину давно предлагали квартиру в одном из двухэтажных домов, но он еще хорошо помнил деревню, родительскую усадьбу, баню, черемуху в огороде и все старался сколько можно продлить эти воспоминания, живя на берегу Чулым-реки.

Слесаря провели ему воду на кухню, но он редко пользовался краном — в метельные дни разве, а то ходил к колодцу с воротом, где к концу цепи прикреплена была полутораведерная деревянная бадейка с двумя обручами. Ему нравилось, расставив на дощатом помосте ноги, стоять возле колодца, медленно поворачивая ворот, чувствовать тяжесть бадьи, хватать ноздрями идущий со дна холодок, слушать, как, срываясь, мягко шлепают капли. В такие минуты опять вспоминалось детство. Вечером по дороге от конторы к дому он останавливался возле магазинов, чтобы купить необходимое, и, отпустив машину, забывал до утра обо всем, что было связано со службой. Не заходя в избу, он делал нужную работу на дворе, затем подметал полы, готовил на плитке, если стояло лето (зимой он топил печку), и все это время его охватывал сладкий озноб от мысли, как уйдет он сейчас в горницу, сняв протез, сядет в кресло с теплой медвежьей шкурой и достанет очередную книгу. В горнице два окна: выходящее во двор хозяин давно закрыл ставней — оно оказалось ненужным, по всей стене от угла до угла протянулись книжные полки, и по глухой стене — тоже. Возле окна, что на Чулым-реку, небольшой стол с низкой, под зеленым абажуром лампой, рядом кресло под давней медвежьей шкурой. Хозяин укутывал ею культю, когда зимой читал по ночам.

На полках стояли разные книги: были такие, которые он не успел прочесть в детстве и читал сейчас, и это было лучше всего — снилось прочитанное, и он просыпался с легкой головой. Книги натуралистов о жизни животных, Брэм и вся новая серия «Жизнь животных» стояли недалеко от стола, но самое заветное хранилось у него в углу нижней полки, скрытой столом,— там находилась «История Государства Российского». «Историю» он читал медленно, несколько лет, и, когда закрыл последний том, тут же готов был заново начать первый — так она его потрясла. Он отложил тома, чтобы успокоиться, и понял, что это единственная книга, которая была нужна ему всю жизнь, которую он будет перечитывать постоянно до конца дней своих, и жалел, что так поздно приобрел ее. Раскрывая очередной том, он сразу же уходил в глубину веков и, когда поды-

мал голову, чтобы передохнуть, подолгу не мог прийти в себя. Он завел тетрадь, чтобы делать выписки, но потом решил: это ни к чему, он еще и еще раз прочтет «Историю» — первый раз он прочел ее как читатель, любопытства ради, а позже раскроет как историк, как государственный деятель, чтобы в сравнении различных эпох, режимов правления, поступков вынести свое единственное суждение о тех или иных людях, презреть или вознести их. В одном из журналов он нашел портрет Петра, застеклил его в рамку и повесил над столом. Отрываясь от страниц, он всякий раз встречался с суровым взглядом Петра, и взгляд этот был чистилищем всех его дел, поступков и мыслей.

Всякие книги стояли в горнице хозяина, только не было здесь книг о войне. Он не собирал и не читал их, чтобы поберечь сердце, выгадать лишнюю минуту для раздумий над «Историей». Он не читал их, чтобы не видеть тяжелых снов, не вспоминать о войне. Он и старался не вспоминать, но она постоянно жила в нем, чаще — в снах. Тогда на ватных ногах он на всю ночь убегал по картофельному полю прочь от колючей проволоки. А ноги не слушались, и никак не добежать до леса, не спрятаться от выстрелов, злого лая собак. И всю ночь в мозгу, как на световом табло, вспыхивал его порядковый номер немецкого концентрационного лагеря, номер, который он, возвратясь с войны, пытался вытравить кислотой, да только обжег руку. Он всегда был рад проснуться до того, как его поймают, включал ночник, капал из приготовленного пузырька в стакан, пил, чувствуя, как ходуном ходит сердце, и, успокоясь несколько, лежал до рассвета, не мог уснуть, да и не хотел.

А новый день приносил свои заботы, надо было вставать, что-то делать, хоть и кололо то в левом, то в правом боку и дергалась, ныла натруженная протезом культя. И сон, как ни отгоняй, держался в голове — за ним тянулись воспоминания. Тогда, на картофельном поле, он был пойман, бит и водворен обратно. Но силы еще оставались, помедля несколько, он бежал второй раз — и удачно, только ногу прострелили в погоне. Так, с простреленной ногой, и перешел к своим. К тому времени началось заражение, положили в госпиталь, где отняли ниже колена ногу и вместо выбитых зубов вставили новые, железные. И вернулся он с войны: солдат, военнопленный, без наград, почестей и славы, с протезом на левой ноге и вечными зубами. Было много вопросов и расспросов — что да как, иной раз получалось — вроде бы он и виноват во всем, что случилось. Дело касалось пенсии, надо бы считать его инвалидом войны, а если разобраться, то... Несколько раз вызывали на освидетельствование, чтобы определить группу инвалидности, наконец, дали группу пожизненно и назначили пенсию. Понятно, что рублей тех пенсионных вполне хватило бы ему на манную кашу, которую он с некоторых пор стал есть. На кашу и не больше, но он сразу же по возвращении пошел работать и, продвигаясь по различным учреждениям районного масштаба, побывал на многих должностях, сидячих в основном, от вахтера до учетчика,— и учился заочно. И это во многом спасало его. Он радовался, что до войны смог закончить школу и сохранить документ. А жил один. По квартирам сначала, долгое время — у сестры, а потом купил избу на берегу. Женщины с ним жить не могли, потому как мужскую силу свою он оставил в лагерях, жена, с которой простился на пятый день войны, на втором году вышла замуж за одного из тех, кого война почти не коснулась, уехала в Среднюю Азию, где было много теплее и сытнее. И хорошо, что так вышло, думал он, дождись она меня, что получилось бы. Стреляться он не стал, потому что любил жизнь — мало ли что случается — и кроме естественной смерти, не желал никакой. На склоне лет определились у него в жизни — помимо всего прочего — три радости: работа, природа и книги. На работе он был руководителем хозяйства; читая книги — тем, кем хотел; а природа была постоянной радостью. Ни одно время года не выделял он особо, любя каждое, и всякий раз изумлялся дереву, ручью, будто видел впервые. Утрами, сев в машину и отъехав от усадьбы, забывал он тут же, что есть изба на берегу, колодец с деревянной бадейкой, книги в горнице. Иные заботы овладевали им. С минуты той, когда входил в кабинет и садился за стол, он уже был не просто жителем с улицы Полевой, а начальником колонны № 21 Бадаевым. Ни на минуту не забывая, что в подчинении его находятся десятки людей, различных по возрасту, характеру, привычкам, десятки разных машин и механизмов, он волею своей, опытом, знаниями должен привести все это в определенную систему, дать толчок движению, работе, чтобы вечером, через неделю, в конце месяца был виден результат. И целый день, пока он отдает распоряжения, говорит по телефону, подписывает бумаги, ездит по объектам, будет скрыто сидеть в нем невесть откуда взявшийся стержень, поддерживая изношенный костяк, и не надломится, не согнется до времени, пока Бадаев не вернется в свою избу на Чулым-реке. Прошедшей ночью снилась ему речка Кия, речка его детства, и цветущая черемуха по берегам. День должен был пройти спокойно...

...Бадаев уже отдал необходимые распоряжения внутри конторы и собирался ехать на объект. Оставалось подписать несколько бумаг. И в это время вошел Лукашин.

— А мы вас ждем,— сипло засмеялся Бадаев, подавая руку.— Садитесь.

Лукашин сел, оглядываясь.

— Яковлев писал о вашем приезде. Сам он здешний, из соседнего района. Написал, но не указал время. Да это и не важно. Где вы остановились?

— Ночевал в гостинице.

— Гостиница отменяется. Платить надо, да и далеко от конторы. Можно посылать каждое утро машину за вами, но это ни к чему. У нас есть возможность поселить вас в своих домах.— Позвонил секретарше, попросил: — Герасимова сюда.

Вошел невысокий человек в ватнике, косо сидевшей шапке, неуклюжий, со связкой ключей в руках. Поздоровался.

— Наш завхоз Герасимов,— кивнул Бадаев.— Илья Ильич, в третьем доме одна секция свободна, кажется?

— Та, где жили курсанты? — Герасимов стеснялся сесть.

— Вот-вот. Окнами в поле которая. Необходимо сделать уборку там. Помыть, подмазать, подбелить, если нужно, протопить хорошо, сделать запас дров. Так, что еще... Поставить кровать, ну, и все необходимое: постель, полотенце, зеркало. Чайник не забудь.

— Понятно, Николай Николаевич.

— К обеду чтобы все было готово. Зайду посмотрю.— Опять позвонил секретарше, наказал: — Машину пока в распоряжение диспетчера. Если ничего срочного не будет — со всеми вопросами во второй половине дня.

Остались вдвоем с Лукашиным.

— Валя.— Бадаев посмотрел на Лукашина.— Вы мне позволите называть вас просто по имени?

— Конечно, какой разговор,— согласился Лукашин.

— Значит, Валя, цель вашего приезда состоит в том, чтобы посмотреть, познакомиться с нашей работой и тогда на собранном материале...— Бадаев поднял на гостя прижмуренные темные глаза.— Так я понимаю?

— Я еще ничего не решил,— покраснел Лукашин.— Может быть, я напишу два-три очерка для газеты — и только.

— Ну, что ж, ну, что ж, и это труд.— Бадаев покивал головой, соглашаясь.— А знаете что... пока Герасимов готовит вам жилье, я вас отчасти введу в курс дела. Посмотрите, над вами висит карта района.

Лукашин встал, повернулся к стене. С карандашом в руке подошел Бадаев. Вынул из внутреннего кармана очки, подул на стекла, протер, глянул на свет. Зашел с правой стороны от Лукашина, чтобы лицом к окну.

— Вы, разумеется, знаете о том,— начал он, держа в поднятой руке граненый красный карандаш, и голос его походил на голос учителя, объясняющего урок,— что уже несколько лет, а точнее, третий год, в области ведутся работы по освоению пойменных земель. Иначе говоря — прибрежных земель. Работы начаты в средней части Оби по притокам ее: Кети, Бакчаре, Чулыме, Шегарке и другим рекам. Освоение земель рассчитано на несколько лет, будут затрачены крупные капиталовложения с тем, разумеется, чтобы в последующем оправдать их, работу ведут передвижные механизированные колонны. На многих участках работа идет беспрерывно — я говорю о временах года,— и результаты уже видны. В некоторых же местах, в частности по берегам Оби, пока ведутся лишь изыскания. Я повторяю — работы ведут передвижные мехколонны. Таких колонн по области довольно много. Назначение же их различное. Одни занимаются только строительством... строят дороги, мосты, животноводческие комплексы. Другие, как наша — их около двадцати,— мелиоративными работами: осушением, освоением, подготовкой пойменных земель. Отчасти занимаемся и строительством, но основное — земли... Конечно же, у вас возникнет вопрос: для чего все это нужно? Я вам отвечу. Естественно, что с увеличением населения происходит постоянный рост городов, а в связи с жизненными требованиями — возникновение промышленных объектов, различных строек. Вы заметили, что в последнее время наблюдается интенсивный отток сельского населения в города? Социологи и другие специалисты считают, что процесс этот носит закономерный характер и не должен вызывать беспокойства. Я же, простите, с этим совершенно не согласен и очень надеюсь, что в скором времени процесс этот примет обратные формы. Тогда, когда мы создадим на селе условия жизни, равные городским. Но это — дело будущего. Итак, о росте городов... Понятно, что действующие в области хозяйства — я имею в виду колхозы и совхозы — не могут в полной мере обеспечить областной город, промышленные объекты, стройки продуктами сельского хозяйства, в первую очередь овощами. И вот перед нами, мелиораторами, встала такая задача — освоить как можно больше пойменных земель с тем, чтобы разбить на них парники, огороды, построить животноводческие комплексы, возможно — зерновые хозяйства. Одним словом, возродить жизнь. Для этого у нас есть все: люди, деньги, нужные машины, а главное, есть желание. В нашем районе до войны — сам хорошо помню — насчитывалось семьдесят два сельских Совета, а сельсовет, как правило, объединял две-три деревни. Население равнялось шестидесяти пяти тысячам. Сейчас по району мы имеем двадцать пять сельсоветов и пятнадцать тысяч населения, включая районное село Чулымск. Таким образом, район потерял пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч! Цифра колоссальная. Каковы причины — спросите вы. Причины разные: война, отсутствие умелых руководителей, отсутствие надлежащей медицинской помощи, бездорожье. Отсюда отъезд, естественная тяга человека к жизни в лучших условиях. Конечно, при желании можно было сохранить хотя бы часть населения. Что ж, пусть это послужит уроком впредь. Я так считаю...

Чем же занимается наша мехколонна? Два года подряд мы помогали оставшимся хозяйствам района готовить земли под пашни, луга, пастбища, расширяя таким образом полезные площади. Сейчас же отошли от них и, кроме чисто мелиоративных работ, в двадцати километрах вверх по Чулым-реке на месте бывшей деревни Покровский Яр занимаемся строительством... Смотрите сюда, Валя. Это Чулым-река, это дорога на Тегульдет, речка Кия — приток Чулыма, речка Четь — приток Кии. Здесь вот была когда-то деревня Покровский Яр. На месте этой деревни мы строим новый поселок, экспериментальный, что ли. Типовые дома, сараи, огороды—все, что нужно хозяину, вплоть до туалета. Поселок так и станет называться — Покровский Яр. Новое хозяйство — совхоз — будет двух направлений: животноводческое и овощеводческое. Часть угодий — старые, а большую часть мы подготовим сами. Осушим болота, раскорчуем, где нужно. Дома двухквартирные, каждая секция состоит из двух комнат и кухни, сени, кладовая — само собой. Запланировано пока построить семьдесят пять домов. Это сто пятьдесят семей. Со временем, если объем работ в хозяйстве потребует, поселок будет расширяться. Но уже без нашей помощи.

Бадаев рассказывал подробно и точно, словно писал протокол или диктовал газетную статью. Было такое впечатление, будто Лукашин попал на лекцию старого, дотошного преподавателя. Позже, когда он понаблюдал Бадаева в различных ситуациях и узнал его, он уже не удивлялся этому. Бадаев вообще говорил мало, если же разговор носил деловой характер, то выражался по возможности коротко, давая саму суть предмета. И от подчиненных своих, на планерках особенно, требовал того же.

— Откуда поселенцы пойдут, Николай Николаевич? — Лукашин внимательно слушал.— Из своих деревень?

— Ни в коем случае.— Бадаев сел к столу. Он устал стоять и говорить, это было видно по его лицу. Сел и Лукашин.— Ни в коем случае. Заселять поселок жителями своих деревень — значит и без того оголять те деревни. Часть переселится из Чулымска. Райпоселок разросся во все стороны, и сейчас трудно найти участок под застройку. С севера — река, с востока березняк огибает, за ним овраги, с южной и западной стороны поля подходят к огородам. Да и низина там. Поэтому многие переедут в новый поселок. В основном же приедут по оргнабору из центральных областей. Пошлем своего представителя. Они и так приезжают каждый год, но их, как правило, отправляют в самые отдаленные деревни, дают не лучшее жилье. Год-полтора поживет такой хозяин — и обратно. Ему интереса нет. А тут, пожалуйста, дома новые, огород распахан, река рядом, дорогу новую проведем — хоть не асфальт, но поднята, гравием покрыта, проезд круглый год. И будут жить — я уверен. Это задача на сегодняшний день, а в будущем, продвигаясь по левобережью Чулым-реки, мы станем делать ту же самую работу, что и сегодня,— заниматься по необходимости раскорчевкой, осушать болота, готовить земли и заселять их. До границ другого района.

— Николай Николаич, а не лучше ли восстановить брошенные земли на местах существовавших ранее хозяйств? Меньше затрат, меньше усилий, чем сейчас, когда вы осваиваете новые.

— Не лучше.— Извинившись, Бадаев развел какой-то порошок в стакане, выпил, долго сидел, закрыв глаза.— Не лучше,— повторил он и попытался улыбнуться.— Район у нас довольно большой, низменный в основном; если начать с дальних деревень, существовавших когда-то, то, прежде чем что-то делать, необходимо вести дороги. И не времянки, чтобы только туда-сюда проехать, а поднятые, с твердым, гравийным, наконец, покрытием дороги. Второе — мосты. Район изрезан речками, деревни, как правило, стояли по берегам. Ни одного моста теперь нет. И третье — расстояние. Рабочие колонны живут в Чулымске, и возить их ежедневно на подобные расстояния пока нет смысла. Потому мы решили начать с Покровского Яра. К тому же Чулым-река — дорога своего рода. Мы добираемся до города на автобусе, а можно и водным путем. Дольше несколько, правда, зато не трясет, красивые берега. Кроме того, по Чулым-реке к местам строительства новых поселков проще доставить нужные материалы: песок, гравий, лес — все, что необходимо строителям. А пустующие земли не пропадут, заселятся постепенно. Вот дойдем по Чулым-реке до границ района, вернемся, Кию начнем обживать, Четь. Дело будущего. Ведь сейчас для сельской местности существует перспективный план переустройства сел. И у нас начинают разворачиваться. Где больше, где меньше — от руководителей зависит. Ну, вот это, так сказать, теоретическая часть. А работу нужно смотреть на участках. Поживете, побываете всюду. В нашей колонне три участка. Все они сейчас работают на Покровский Яр. Первый участок ведет раскорчевку, вспашку, боронование — то есть полностью готовит поля для засева. Второй заканчивает строительство дамбы, огородив Большое болото от разливов Кии. Позже болото будут осушать и готовить под пастбище. И третий участок занимается непосредственно строительством поселка. Завтра утром планерка, будут начальники участков.— Глянул в окно.— А вот и завхоз наш. Ну, хорошо, Валя, не буду вас дальше утомлять. Завхоз покажет комнату, рядом столовая. Готовят у нас для своих рабочих, ОРС свой, дешевле гораздо, чем в районной. Мы в этом году думаем подсобное хозяйство развести, чтобы все свое было. Ну, до завтра. Если что нужно, просите у Герасимова, я ему дам наказ.

Лукашин спустился вниз, Герасимов повел показать жилье. Голос у него оказался тонким, он неуклюже забегал вперед, оглядывался и все сбивал на одно ухо шапку, улыбаясь, рассказывал:

— Поселили их, понимаешь, курсантов, а они, паразиты, в первый же вечер игру затеяли и ну подушками кидать друг в друга. И вышибли, понимаешь, напрочь два стекла. А холод в эту стенку как раз дул, заткнули они окна теми же подушками и давай печку топить, и давай ее топить. И так ее разъярили, что плита лопнула и колосник прогорел, провалился. Я — ругать, а им хоть бы что. А у меня забот хватает... Вот и пришли.

Лукашин улыбался, слушая. Дом для малосемейных разделен на четыре секции. Каждая секция состояла из комнаты и кухни. Одну из них приготовили для Лукашина.

— Я все поделал, как велели. Помог уборщице.— Завхоз открыл дверь.— Умывальник повесил, вода в бачке. Если нужно что, не стесняйтесь. Меня Илья Ильич зовут. Дрова в кладовой сложены. Хватит пока.

— Хорошо,— сказал Лукашин.— Спасибо вам, Илья Ильич.

Завхоз ушел. Печку протопили хорошо, и в комнате было тепло. В углу стояла железная кровать, с постелью, рядом под зеленой клеенкой — стол, еще один стол поменьше в простенке между окнами, на нем зеркало, графин с водой, два стакана. Окна выходили в огород с кучками усохшей ботвы, сразу же за городьбой начинались березовые колки. Лукашин сходил в столовую, скоро вернулся и до позднего вечера, лежа, слушал радио, читал, вспоминал дорогу на Чулым-реку, разговор с Бадаевым.

Планерка. Голицын

— Николай Николаевич, а разве начальники участков с утра не на объектах?— спросил Лукашин. Они сидели в кабинете Бадаева — рабочий день еще не начался. Слышно было, как то и дело хлопают двери — проходили служащие конторы.

— Как правило, там.— Бадаев просматривал бумаги.— Но раз в неделю у нас планерка, и тогда с вечера они дают задание бригадирам, а после разговора в конторе разъезжаются по местам.— Посмотрел на часы.— Без пятнадцати девять, сейчас подойдут. Первым обычно Голицын является.

...Начальник первого участка Валерий Голицын встал в половине седьмого. Набросив халат, он проводил подругу — парикмахершу Дома быта (каждые десять дней она подправляла ему волосы на дому) и, подойдя к окну, увидел, как уходит женщина, огибая затянутую белесым ледком лужу, придерживая от ветра полу плаща. Опершись рукой о крестовину рамы, Голицын смотрел в окно, думая, какая теперь погода в Москве и благополучно ли доехала его мать Эльвира Самсоновна.

Курить с утра не хотелось. Сбросив халат, Голицын забрался под одеяло и взял журнал с переводным романом Франсуазы Саган.

Голицын занимал однокомнатную квартиру в одном из новых домов поселка. Гостившая неделю мать сделала уборку, перестирала белье, освободив его на время от некоторых забот. Перед самым отъездом матери, как всегда без предупреждения, заявилась парикмахерша; она налетела на Эльвиру Самсоновну. Когда Голицын пришел домой, парикмахерши уже не было, а мать грустно сидела возле окна.

— Валерик,— сказала она, приготовив платок,— я обнаружила, что у тебя бывают женщины. Конечно, ты не мальчик и не мое дело вмешиваться в твою личную жизнь, но меня пугает другое — как ты можешь опускаться до уровня подобной девки. Пора бы тебе подумать о чем-то более серьезном.

— Мамаша,— Голицын говорил, глядя в сторону.— Достаточно того, что один раз я более чем серьезно думал об этом. Но для вас так же была девкой моя невеста Рашевская.

— Ах, Валерик,— ужаснулась Эльвира Самсоновна,— как можно! Вся Москва только и говорила тогда о процессе над ее отцом.

— Ах, маман,— в тон ей ответил сын,— ну, конечно! Разве могла дочь осужденного Рашевского приходить в дом ипподромного «жучка» Голицына... Когда ваш супруг Арнольд Голицын приносит деньги, вас, как я понимаю, не особо мучат угрызения совести. Но вот Рашевский...

— Что ты говоришь, Валерик! Ведь он твой отец, хоть и не родной. Он глава семьи. Он должен кормить семью. И потом Леночку нужно было отдать замуж. А я не могла найти нужную работу. Ведь ты прекрасно знаешь о том, что эстрада погубила меня.

Голицын поморщился.

— Давайте не будем об этом в сотый раз,— попросил он.— Еще неизвестно, потеряла ли эстрада от того, что вы покинули ее. И винить нужно прежде всего своего мужа.

— Арнольд Филиппович — достойный человек,— Эльвира Самсоновна прикладывала платок к сухим пока глазам.— Вы не понимаете друг друга. Он ничего плохого тебе не сделал. Наоборот.

— Как, впрочем, и хорошего,— заметил Голицын.

— Валерик! Нужно быть благодарным. Он дал тебе свою фамилию.

— Благодарю вас и низко кланяюсь,—передернулся Голицын, поворачиваясь к матери.— Я бы предпочел носить фамилию своего отца, имя которого вы до сих пор скрываете. Отца! А не этого...— Голицын остановился. Эльвира Самсоновна плакала.

— Валерик, уверяю тебя,— всхлипывала она,— уверяю тебя, это был недостойный человек.

Голицын молча ушел на кухню ставить кофе. На другой день мать уехала. Голицын взял у Бадаева машину и отвез ее в город. В вагоне, извинившись перед матерью, попросил:

— Не следует так часто приезжать ко мне. Дорога долгая, пересадки. Летом, возможно, я заеду навестить вас. Привет Елене.

Поцеловал и вышел на перрон...

Валерию было четыре года, когда в их семью вошел Арнольд Голицын. Регистрируя с ним свой брак, Эльвира Самсоновна Ступина с удовольствием взяла фамилию мужа, считая ее более сценичной. И Валерий стал Голицыным, но отчество за ним сохранилось отцовское. Уже будучи взрослым, он разыскал одну из тех, кто когда-то выступал вместе с матерью, надеясь узнать, кто же был его отцом.

— Что вы, молодой человек,— удивилась бывшая звезда эстрады.— Жизнь такая долгая, и столько всего было в ней. Ваша мама тогда только начинала, она имела успех, и, конечно же, у нее были поклонники. А что мама? Как себя чувствует? — трясла головой старуха.

— Прекрасно! — ответил Голицын.— Прекрасно себя чувствует и шлет вам привет.

Арнольд Голицын — бывший танцор ансамбля песни и пляски, потом эстрадный конферансье в период их знакомства с матерью — теперь вел драмкружок в одном из клубов и постоянно играл на ипподроме. Иногда, раскрыв «Советский экран», он удивленно восклицал:

— Боже мой! Народный артист! Лауреат Государственной премии! Эльвира, ты только посмотри! А ведь мы начинали вместе. Кто бы мог подумать, что из него выйдет толк. Помню, ему все не удавался этот вот жест.

Семья Голицыных считала себя театральной. Здесь говорили только о сцене, на стенах висели афиши былой славы, в квартире постоянно пребывали какие-то старушонки.

— Старые актрисы,— подымая палец, тихо говорила Эльвира Самсоновна детям.

— Какие глаза! — восхищенно шептали старые актрисы, глядя на Валерия.— Есенинская синева. А руки! Это руки трагика! Конечно же, у родителей артистов и дети должны быть артистами.

Валерия — сестре Елене давно был определен путь в большой балет — загодя стали готовить к сцене. Первые уроки актерского мастерства он получил на дому. Арнольд Филиппович учил его отрабатывать жесты и мимику, Эльвира Самсоновна ставила сыну голос.

После школы разговор шел только о поступлении во ВГИК.

— Если уж поступать,— сказал Арнольд Филиппович,— так только во ВГИК. Все знаменитости вышли оттуда.

Но Эльвира Самсоновна была согласна и на Щепкинское училище. Она уже представляла, как в киосках будут продавать фотографии сына, а соседи, кланяясь на лестнице первыми, говорить льстиво:

— О-о, ваш Валерик играет с самим Смоктуновским!

Валерий послушно отнес документы и, не пройдя и первого тура, благополучно вернулся домой. Глаза не помогли. Проскучав год, он поступил в сельскохозяйственный институт на отделение мелиорации, в вуз, весьма далекий от кинематографа. Такая же история произошла и с сестрой Еленой. Вместо хореографического училища она окончила медицинский институт и работала врачом в одной из клиник. Тогда же после их провала Эльвира Самсоновна стала кричать на мужа, упрекая, что он готовил детей не по той системе. Муж назвал ее дурой и ушел на ипподром смотреть на лошадей. К театру он давно охладел.

Окончательно Валерий разошелся с родителями перед защитой диплома. Последний год он жил в общежитии. Рашевская училась курсом старше, история с отцом и холодный прием родителей Голицына рассорили их, она уехала из города, а через год, получив диплом, уехал и Голицын. Писал он только сестре, изредка передавая родителям приветы, но мать, простив сына, приезжала уже дважды навестить его. Это был ее третий приезд.

...Будильник показывал половину восьмого. Голицын поднялся, заправил постель, покидал немного гирю и стал бриться, поворачивая перед зеркалом узкое синеглазое лицо. Почистив бритву, склонился над раковиной умывальника и, набрав на палец пасту «Жемчуг», протер зубы. Щеткой, чтобы не испортить эмаль, он пользовался через два дня на третий. Прополоскав рот, не вытирая лица, пригладил мокрыми ладонями ржавые волосы и стал собираться на службу. Поверх двух теплых носков натянул женского размера болотники, дважды завернув их так, чтобы раструбы приходились на уровне колен, надел свитер и еще раз поправил-причесал сдвинутые свитером волосы. Надо было что-то поесть с утра, но есть не хотелось. В бутылке оставалось немного портвейна. Голицын влил его в горячий, густо заваренный чай, надел берет, сунул в карман куртки три яблока и, кивнув поручику Лермонтову, смотревшему со стены, спустился вниз, где уже стоял самосвал Кольки Перевалова.

— Доброе утро, Николай Антоныч! — Голицын сел в кабину.— Как поживаете?

— Куда? — спросил крупный Перевалов, косясь из-под козырька захватанной кепки.— Куда прикажете доставить? На раскорчевку?

— В контору.— Голицын достал два яблока, одно протянул Перевалову.— Забываете, Николай Антонович, планерка сегодня. Участок потом.

— Извините,— засмеялся Перевалов, выжал педаль и взял с места на второй.

Самосвал обогнул дом и вышел на прямую.

На второй этаж конторы Голицын взбежал стремительно. Быстро прошел по коридору, здороваясь на ходу. В приемной положил оставшееся яблоко Ангелине, улыбнулся ей и, потянув на себя дерматиновую дверь, шагнул в кабинет. Качура уже сидел там. Начальник третьего участка Петухов передал с диспетчером, что на планерке не будет, уехал на участок, что-то там стряслось еще вечером. Было без пяти минут девять.

— Ну, что же,— поднял от бумаг голову Бадаев,— начнем без Петухова. Валерий Павлович, давайте, что у вас.

— На сегодняшний день,— размеренно начал Голицын,— дела на участке таковы...

После каждой почти фразы его Бадаев, просматривая бумаги, однако слыша все, ставил встречный вопрос.

— ...Таковы: бригада Пантелеева, согласно договоренности, работает на полях колхоза «Рассвет», заканчивая раскорчевку кустарников около Горелой вышки.

— Когда закончат? — не повернул головы Бадаев.

— На два дня работы.

— Сукоподборщик на ходу?

— Собрали. Вчера разговаривал с главным механиком.

— Думаете посылать туда, Валерий Павлович?

— Нет, Николай Николаич, не будем посылать. Нет необходимости. Подборка сучков на полях колхоза пройдет вручную. Они хотят устроить воскресник. Выйдут школьники, конторские служащие... Поскольку у нас сукоподборщик один, его мы перебросим на берег Чети к излучине. Бригада Бражникова вчера закончила последний гектар корчевки и перешла к оврагам за овсяным полем.

— Та-ак,— кивнул Бадаев,— сколько у нас там гектар?

— Триста пятьдесят. Как только земля отойдет на глубину лемеха, начнем вспашку. На новом месте березняк тянется почти вокруг всего овсяного поля и уходит к дальнему оврагу. По документам — двести семьдесят пять гектаров.

Вошла секретарша Ангелина с бумагами. Не доходя до стола, засмотрелась на Голицына, свободной рукой стала взбивать начес.

— Ангелина Сергеевна,— рот Бадаева пополз в сторону,— вы что, впервые видите Валерия Павловича?

— Николай Николаич,— очнулась секретарша,— подпишите.

— Ого, кто это сочинил? — Бадаев сдвинул на лоб очки.— Гусев? Верните, пусть перепишет. Человек с высшим образованием, а грамотно писать не научился.

Дождался, пока секретарша вышла, повернул опять к Голицыну серое, с лысеющим лбом лицо.

— Как только бригада Пантелеева закончит на колхозных полях, сразу же переводите ее на строительство дороги. Погоним прямую дорогу от Тегульдетского поворота на Покровский Яр. Разобьете бригаду на два звена: одно пойдет от поворота к Кии, второе перегоните через старый мост в Покровский Яр, и пусть оно идет навстречу. Незачем нам всякий раз давать крюку двадцать верст, когда можно напрямки. Как только Кия спадет — начнем строительство моста. Смету уже составляют.

— Петухов не поможет от поселка?

— Не поможет. У него своих работ полно. Перегоняйте. Гравий на пристани, через два-три дня можно начинать. Все?

— Все. Работа ведется в две смены,— заканчивал Голицын,— больных нет, на увольнение никто не подал. За технику отвечает линейный механик Свирин.

— Акимов работает?

— Работает на толкаче в звене Ахметзянова. Тот взял над ним шефство. Я говорил с ребятами, они присматривают за ним.

— Хорошо. Иван Ефимыч, как у тебя?

Начальник второго участка Качура, громадный, коротко стриженный мужик, толстогубый, сизоносый, в ватнике и резиновых сапогах, сидел, перебирая на коленях негнущимися пальцами исписанные бумажонки.

— Дела идут, мать их так,— загудел он. Скомкал вспотевшей ладонью бумажки, сунул в карман.— Дела идут... Вот дамбу закончить бы да на премиальные подать.

— С премиальными успеешь. Сколько у тебя экскаваторов на дамбе?

— Семь на дамбе. Два на котловане работают под насосную.

— Сколько осталось отсыпать?

— Метров четыреста, никак,— трудно шевелил губами Качура,— до ручья.

— Кстати, кто у тебя заканчивал срезку кочек за ручьем?

— Черт их знает, Николаич.

— Черт не знает. Ты обязан знать. Ты начальник участка. Михеев там работал?

— Ну, Михеев...— Уши Качуры налились огнем.

— Почему за ручьем кочки не тронуты? Забыли? Вот что, пока грунт держит — направь туда Михеева, а за то, что не сделал в прошлый раз, сними с него одну треть премии за март. Я проверю.

— Да ну-у, Николаич,— сопел Качура,— за что же мужика...

— Договорились,— кивнул Бадаев.— Кто помнит, когда в прошлом году Кия тронулась?

— Числа семнадцатого,— неуверенно сказал Голицын.

— Иван Ефимыч! Экскаватор с котлована снять, с ним успеется. Перегнать на дамбу. Как думаешь, не размоет? Высота достаточная?

— По документации гоним.

— Поднять бы надо сантиметров на тридцать,— вмешался Голицын.— В прошлое половодье вода высоко шла, я по деревьям помню.

Качура недовольно засопел. Дамба — его, Качуры, забота, и Голицыну до этого нет дела. Отчитался — и сиди. Никто не спрашивает.

Голицын понял его. Он, Голицын, знал свою работу на сто двадцать, как говорил один из его приятелей. И не потому, что знание производства делало его независимым от начальства или в какой-то мере — всего не предусмотришь — предохраняло наперед от возможных производственных казусов. Нет. Прежде всего это давало ему внутреннее удовлетворение как специалисту. Да и другого положения он просто не представлял. Знания, которыми он располагал теперь, выходили за пределы деятельности ПМК, и Голицын понимал, что он совершенно свободно может руководить колонной. Даже более энергично, чем Бадаев. И не потому, что примерялся к должности этой, пока ему достаточно было участка. Просто знал — и все. И другие об этом знали. И Бадаев. Бадаев после первого года совместной работы предложил ему должность главного инженера колонны. Голицын отказался, сославшись на малый опыт. Бадаев исподволь присматривался к нему и в минуты болезни, в минуты душевного смятения не один раз ставил его на свое место, но пока тянул сам.

— Иван Ефимыч,— сбивая раздражение Качуры, предложил Бадаев,— пока вопрос с дамбой не станем оспаривать. После всего поедем на участок, посмотрим на месте. Я думаю, что поднять все-таки следует. Никто нас за это не накажет. Документация документацией, а подстраховать себя надо. Не помешает. Вот еще что,— Бадаев среди прочих бумаг нашел нужную, взглянул,— необходимо послать в командировку четырех человек: двух трактористов, двух экскаваторщиков. По два человека с участка. Посылаем в Белоруссию, сроком на пятнадцать дней. Цель командировки — знакомство с работой по удалению кустарника и укладке закрытого дренажа. Что-то новое придумали белорусы, надо и нам поинтересоваться. Подберете ребят потолковее, завтра подадите список.

— А кого я пошлю? — недовольно загудел Качура.— Легко сказать — двух человек. Сними — участок оголишь. Дамбу заканчивать надо? Надо. Аж в Белоруссию... Или мы кусты не умеем срезать? Руками вырвем, если нужно. У меня вон пять человек в отпуск просятся. Пусть Петухов посылает, у него народу много.

— Не мудри, Иван,— устало сказал Бадаев.— У Петухова строительный участок, он осушением не занимается. Тебе же с болотами возиться. А то вон Валерий Павлович своих направит.

— Он направит,— косился Качура.— Он и так готов все сам делать. Куда нам, старикам, до него.

Бадаев и Голицын засмеялись.

— Ну, все.— Бадаев встал.— Да, забыл вам представить,— он посмотрел в сторону Лукашина,— товарищ из области, интересуется нашей работой... Валерий Павлович,— Бадаев уже надевал шляпу,— вы куда сейчас?

— Узнаю, перегнали сукоподборщик или нет. Если перегнали, поеду посмотрю, как идет работа.

— Хорошо. Мы едем на дамбу. Валя, вы с нами? — спросил Бадаев Лукашина.

— Конечно.

Спустились вниз вместе. Качура, Бадаев и Лукашин сели в машину, Голицын пошел в диспетчерскую.

— На второй участок,— сказал Бадаев шоферу и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза.

Опустив стекло, он ловил сухими губами ветер, залетавший в кабину. «Газик», расплескивая лужи, уходил к Покровскому Яру...

Он, Бадаев, не для того каждую неделю собирал планерку, чтобы узнать от подчиненных, как идут дела на участках. О том, как идут дела, что, как и где делается, он прекрасно знал сам, почти ежедневно объезжая объекты. Он хотел выслушать начальников участков и узнать, что они планируют на завтрашний день, на неделю вперед, на месяц, как будут распределять время, рабочих, технику. Что думают о работе своей. Все эти сведения во многом облегчали ему, Бадаеву, руководство. Они были каждый на своем месте — начальники участков. И молодой, знающий дело Голицын, и осторожный, медлительный Качура, который тридцать три раза отмерит, прежде чем сделать что-то, и до удивления мастеровитый мужик Петухов, который и грамоте не шибко разумел, а брал смекалкой, умением делать любую работу. У него не слукавишь, не сделаешь как попало — всюду успевает. Прораб, год как из института, ходит за ним, то и дело спрашивая. И Бадаеву всякий раз было приятно, что на старости лет пришлось работать с такими людьми.

Из всех троих одному Голицыну намечено еще показать себя, а эти двое уже достигли, чего могли, и большего от них никто не требовал.

Начальник второго участка

Начальник второго участка, бывший полковой разведчик, кавалер орденов Славы всех трех степеней, пятидесятилетний Иван Ефимович Качура женился двадцати с лишним лет от роду и по сей день был привязан к своей супруге. За время совместной жизни с ней нажил шестерых детей. Вернувшись с войны, Качура сел на трактор и, может быть, до сих пор работал бы трактористом, если бы не сосед.

А сосед ему тогда сказал вот что:

— Что же ты, Иван? Смотрю я на тебя, и стыдно мне делается. Носить такие ордена — и работать на тракторе. Ведь ты у нас на весь район один в героях. А может, и на всю область. Другая тебе работа нужна. В начальники тебе, Иван, нужно—один выход.

«А ить верно говорит,— удивился Качура.— Как же это он, чужой человек, а все обо мне продумал? А сам я не мог догадаться».

Долго размышлял он, как бы это ему удачнее определиться со своими орденами, но ничего путного придумать не мог. Все подходящие должности вокруг давно были заняты, да и не помнил он такого, чтобы хоть одна из должностей когда-либо пустовала. Оставил он эту затею с должностью, но вдруг вспомнил, что в свое время закончил семь классов. И что вот эта справка об окончании, мятая, протертая на сгибах бумажка, и есть теперь основа всей будущей жизни его.

Справка тотчас была найдена среди прочих документов. Весну и лето тайком от своих уходил он в баню и там листал забытые учебники. Три раза подряд, из осени в осень, сдавал Качура вступительные экзамены на вечернее отделение районного техникума сельского хозяйства. Диктанты Качуры, в которых после проверки красных букв было больше, чем черных, ходили в техникуме по рукам и, наконец, дошли до директора. Директор, тоже фронтовик, пригласил к себе Качуру.

— Слушай, Иван,— сказал он, смущаясь,— а я и не знал, что ты к нам поступаешь. Надо было зайти, я бы сказал ребятам. Да неужто мы тебе, орденоносцу, тройки на вступительных не поставим?

— Тройки вы мне, допустим, поставили бы,— засопел побуревший Качура,— только на хрена они мне нужны. Мне не тройка нужна, а ремесло. Это как если бы мне вместо настоящих орденов картонные навесили. Пожалели б меня на вступительных, а потом из года в год переводили, жалея. И что вышло бы? Как пришел я к тебе дурак-дураком, так таким и выскочил бы. Ну, нет. Десять раз буду поступать, а свое возьму. И не вздумай ничего говорить им, слышишь, а то сейчас заберу бумаги.

На третий раз поступил. И стал учиться. А что значит учиться мужику, который к этому времени таблицу умножения забыл начисто, который с утра до вечера на тракторе? И домашние заботы: корова, овечки, куры, без которых нет крестьянина? Огород пятьдесят соток — вспаши, посади да обработай. Детей шесть ртов — корми, одевай, учи. Да дети какие-то шалые вышли. Разлетелся восьмиклассник Витька на велосипеде по переулку что есть мочи, а тут соседского поросенка — не больше рукавицы поросенок — черти вынесли. Сшиб велосипедом насмерть. Пришел сосед.

— Плати! — И цену потребовал как за трехмесячного.

— Да ты что! — по-медвежьи всплыл на дыбы Качура.— Поросенок-то крошечный!

— Хе! — хмыкнул сосед.— Это он сейчас маленький, а через год каким бы стал — в центнер.

Что ж, пришлось платить.

Весна. Троицын день. Из дома в дом гости ходят. Сидит Качура в горнице, учебник раскрыл, маракует — сессия скоро. А жена злая. Горячая баба, вот-вот скандал затеет. Жена юбку чистую надела — хоть раз в году к тетке в гости сходить, а он сидит, уткнулся носом, не своротишь. Встала в дверях.

— Мерин ты сивый! Чего надумал к старости — читать! Школы тебе не хватило, идолу! И как я за дурака такого пошла — не жизнь, а каторга! Другие мужики как мужики, а этот...

Уперев палец в строку, Качура поворачивается к жене.

— Маня! Ты свинью накормила, Маня? Нет? Так пойди и накорми!



— Тьфу на тебя! — зверела жена и уходила к тетке.

Качуре там делать нечего. Пришел в гости — выпить надо. А у него правило: гулять — так гулять, работать — так работать. Выпьешь, утром опохмеляться захочешь. Глядишь, день пропал.

И одна сходит, ничего...

— Вот у меня Манька — баба,— хвалился Качура на работе,— никому не уступит.

В первые же дни совместной жизни супруга сразу налетела на него, желая показать характер и утвердиться этим в семье. Тогда Качура трепанул ее слегка, чтобы не забывалась. С тех пор не обижал. Иногда, правда, доводила она его, а у него, у мужика, были свои заботы. И не для кого-нибудь он старался, для семьи. Хотя бы вот и учеба. Но она любила его — знал Качура. Да разве, не любя, столько детей нарожаешь?

Вздохнув, Качура переворачивал страницу. Многие, с кем он начинал, и года не выдержали, бросили учебу. Но Качура был завидно упорен. Это упорство в былые времена заставляло его, разведчика Качуру, одного уходить в ночь от своих позиций к немецким окопам и возвращаться ползком обратно, таща на себе немца. Это упорство помогало ему на стареньких, довоенных тракторах делать по две нормы за смену. Да мало ли чего...

Сдав экзамены за второй курс, Качура перешел на стройучасток. Работал бригадиром, долгое время мастером, а когда образовалась передвижная механизированная колонна и Бадаев, возглавлявший до того районное управление сельского хозяйства, стал ее начальником, он взял Качуру к себе.

Давно был окончен техникум, появился кое-какой опыт в руководстве участком, но Качуре этого было мало. Кроме природного упорства, жило в нем неистребимое желание соперничества, единоборства с кем-либо. И он постоянно задирал Голицына, ревнуя Бадаева к нему, а тот только посмеивался.

— Везет же людям,— завидовал запоздалой завистью Качура.— Войны не видели, все у них вовремя — школа, институт.

А тут пока техникум окончил, полысел вконец. И рабочие у Голицына, по мнению Качуры, сброд всякий: вербованные, освободились которые... А подаст сводку за смену, глядишь — сто двадцать процентов. Вот тебе и на. И никаких аварий. А у него, у Качуры, тракторист, который при приеме клялся всеми богами, нажрался в первую же получку и залетел на тракторе в овраг. Вытаскивай теперь...

На планерке, когда речь зашла о дамбе, Качура хотел уже горлом взять, да вовремя опомнился. Голицын ему был нужен. Хватка у него, у Качуры, была — знаний не хватало. И надумал он поступить в институт.

«А что,— размышлял Качура,— какие мои годы? До пенсии далеко. Закончил техникум, институт закончу — все одно время идет. Осенью поступать, а пока суд да дело — подготовиться». И здесь он сильно рассчитывал на Голицына, что тот поможет ему подготовиться к вступительным. А то неудобно получится: начальник участка, и вдруг экзамены не сдал...

Приехали на второй участок. Качура сразу заторопился к экскаваторам на котловане, чтобы перегнать их на дамбу, а Бадаев с Лукашиным вышли на высокое место, с которого видно было всю сделанную и предстоящую работу.

Бадаев рассказывал:

— Сейчас мы с вами находимся между Чулым-рекой и ее притоком Кией, в двенадцати километрах от строящегося поселка Покровский Яр. Место это издавна называется Большое болото. Болото начинается здесь и тянется довольно далеко на восток. Каждую весну, выходя из берегов, Кия затопляет болото, и, если лето сырое, вода так и стоит до заморозков. В жаркое — высыхает, конечно. Изыскивая для поселка угодья, мы решили использовать это болото. Прежде чем осваивать его, нужно было построить дамбу, чтобы оградить от полой речной воды. Дамба заканчивается возле во-он того перелеска, видите, где работают экскаваторы. Место там высокое, и нет необходимости вести дамбу дальше. Зимой мы пустили по болоту кочкорезы, произвели раскорчевку кустарников и таким образом получили несколько сот гектаров полезной площади. Вся эта площадь рассчитана под ДОКП, точнее, долголетнее орошаемое культурное пастбище. В Прибалтике подобные пастбища культивируются уже лет пятнадцать, мы же только начинаем. Делается это так: роется на будущем пастбище сеть траншей, и в них укладывается закрытый дренаж — трубы для стока и подачи воды. Вся площадь распахивается и засеивается культурными травами. Пастбище обнесено заграждением — проволочным, как правило,— разбито на квадраты или участки, на каждом участке имеется поливочная установка. Недалеко от пастбища водонасосная станция — котлован уже готовят,— которая сообщается с естественными водоемами, в данном случае с речкой Кией. Насосная станция двустороннего действия. В дождливое время вода с пастбища будет откачиваться в Кию, в засушливые дни — подаваться из речки к поливочным установкам. Скот пасут, чередуя участки. Скормили на одном загоне траву, перегоняют на другой — и так далее. На использованных производится ежедневная поливка, чтобы быстрее подрастала трава. Чем мы руководствовались, выбирая это болото? Прежде всего оно недалеко от поселка. Это очень важно. Потом место тут открытое, свободное для ветров, гнуса меньше, чем в тайге на полях. Такие пастбища уж и тем хороши, что освобождается за счет пастухов рабочая сила. Загнал скот — и пасись он себе на здоровье. А парники и огороды планируются по берегам Чулым-реки. Сразу же за поселком. Место там высокое, вода не достает.

Подошел запыхавшийся Качура, спросил:

— Ну что, Николаич, станем подымать дамбу?

— Посмотрим сейчас. Давайте выйдем на берег, где-то там пень есть. Голицын рассказывал, в прошлое половодье захлестывало его.

Нашли пень. Бадаев встал на колено, прищурясь, посмотрел поверх пня на дамбу, сравнивая высоту,— пень стоял чуть-чуть пониже.

— Посмотри,— уступил место Качуре.

Качура долго целился, поочередно прижмуривая глаза. Встал, отряхнул штаны на коленях.

— Подымать придется, Николаич.

— Подымать.— Бадаев сел на пень, вытянул ногу с протезом.— Расставь экскаваторы по всей длине, и каждому — задание. А кочкорез за ручей пошли завтра же. А то так и останется кусок ни уму, ни сердцу. Иди распоряжайся, а мы поедем.— Встал, опираясь на палку, пошел впереди Лукашина к машине. По дороге остановился, глядя в спину уходящего Качуры, сказал, будто сам с собой разговаривал: — Мужик старательный, только вот грамотешки малозато.

— А вы что окончили, Николай Николаич?

— Сельскохозяйственный заочно.

Письмо Яковлеву

Отложив ручку, Лукашин открыл дверцу печи, чтобы подбросить дров. Долго смотрел на огонь, вспоминая свой приезд сюда. На плите кипел чайник, крышка мелко подпрыгивала, пропуская пар. Лукашин снял чайник, заварил сухим смородником. Сел к огню, положил на колени книжку, на нее — тетрадь.

В комнате тепло, на дворе темь, апрельский ветер стелился низко, сушил землю. В деревьях бродил сок, распрямляя оттаявшие ветки.

«Милый Яковлев,— писал Лукашин,— прошло уже двадцать дней, как я живу на Чулым-реке. А такое впечатление, будто пробыл здесь долгое время. Я тебя благодарил мысленно — а сейчас вот пишу в письме — за то, что ты отправил меня сюда. Хандра моя прошла. Весной я всегда себя лучше чувствую. Она будоражит меня, вселяя надежды, появляется желание работать. Скучать совсем нет времени, целые дни я на ногах — оглядываюсь по сторонам, расспрашиваю все, стараясь больше запомнить. И люди и места здесь славные.

В середине апреля тронулся по рекам лед.

Мне никогда не приходилось наблюдать ледоход на крупных реках; на моей родине, в верховье Шегарки, большая вода случается редко. Раза два в своей жизни наблюдал я, как переполненная Шегарка несла воды, но то, что мне довелось увидеть здесь, я тебе никак не могу рассказать. Несколько дней подряд дул теплый влажный ветер, все ходили возбужденные, повторяя: «Скоро пойдет!» И в один из дней, пополудни, вскрылись, поднялись речки Кия, Четь, Мачега (названия какие!), все это хлынуло в Чулым-реку, лед зашевелился, отдельные льдины вставали на ребро, сверкая на изломах синими гранями, вода ежеминутно прибывала из речек и ручьев; ветер, дувший по течению, стронул нагромождения, завалы, заторы, и все это пошло, пошло, пошло поворотом на Север, к Оби. Был воскресный день, мы стояли на берегу — Дарья, Голицын, Копька Перевалов,— провожая взглядами лед. Все были как пьяные. Уходить не хотелось...

Вечер. Я сижу у Голицына. Я сижу спиной к окну, облокотясь о столешницу, на столе старинный, подаренный матерью подсвечник в три свечи — хозяин обожает свечи, на столе большая керамическая кружка горячего чая, разбавленного портвейном,— хозяин редко пьет вино в чистом виде, на столе длинные папиросы слабого табака — хозяин не курит сигарет. Хозяин ходит из угла в угол через комнату и говорит. О чем он говорит? Воротник голубой рубашки его расстегнут, на нем замшевая на меху безрукавка, серые отутюженные брюки, домашние туфли. Я смотрю на руки его, которые живут, помогая выразить мысль, и думаю: кто передо мной? Может быть, это ведущий актер столичного экспериментального театра, поэт, избалованный публикой, исследователь Шекспира, вводящий меня в тайны средневековой драматургии? Ничуть не бывало. Это рядовой инженер-мелиоратор. Но это инженер Голицын. О чем он говорит? Говорит он о необходимости немедленного преобразования села вообще и в данном районе — в частности. Он эрудит, он цитирует мне труды ученых-мелиораторов, говорит о ведении подобных работ за рубежом — он знает английский язык; он волнуется и подымает на меня свои прекрасные синие глаза. Я смотрю на него и удивляюсь. Откуда это? Он моложе меня. В двадцать пять лет окончил институт, третий год работает с Бадаевым. И мне чрезвычайно приятно, что он, горожанин, знавший раньше деревню толь-

ко в дни практик, так говорит о земле. Он полностью согласен с Бадаевым и поддерживает его. Он убежден, что надо идти дальше. Мне приятно. Ты ведь знаешь, что исчезновение деревень — моя теперешняя боль. И как неожиданно приятно встретить человека, понимающего тебя. Голицын открыл мне тайну Бадаева. Оказывается, деревня Покровский Яр, на месте которой строится новый поселок,— родина старика. Когда зашел разговор о строительстве нового поселка и стали выбирать место, Бадаев настоял, чтобы строить на берегу Чулым-реки. Я вспомнил, как однажды, когда мы приехали на третий участок смотреть поселок, он, показывая мне строительство, вспоминал: «Вот здесь была школа, контора колхозная, там — скотные дворы».— «Часто приходилось бывать?» — спросил я. «Бывал»,— ответил он странным голосом. А потом оставил меня с Петуховым и ушел. Вернувшись к машине, я спросил шофера, где Николай Николаевич, и увидел, как, прихрамывая, вышел он из березняка, где находилось старое деревенское кладбище. Сел впереди и промолчал всю дорогу. Оказывается, там похоронены его родители...

Голицын подходит к столу, прихлебывает чай, еще раз садится напротив. Мы говорим о том, о сем, часто — о литературе. За недостатком общей культуры, от неумения достаточно правильно выразить мысль я больше молчу, слушаю. Я не бог весть какой знаток литературы или живописи и каждую книгу, картину ли воспринимаю чисто эмоционально, не вдаваясь в тайну ремесла. А он начинает совершенно свободно говорить о теории стихосложения, о театре. Понятно, столичный житель, интеллигентная семья. Любимый поэт его — Лермонтов. Он мне читает Лермонтова. Он читает «Завещание». Шепотом, закрыв глаза. И никакой позы, никакого желания удивить или поразить меня. На лице его страдание — и только. «А ведь он талантлив»,— думаю я, глядя на его руки.

Поздно. Мы допиваем чай. Я встаю. Хозяин провожает до лестницы.

— Дойдешь? — спрашивает он, полуобнимая меня.— Заходи, Валя...»

Лукашин открыл печку, посмотрел. Дрова прогорели, угли лежали ровно, подернутые тонким синим огнем. И тянуло изнутри печи устойчивым, сухим жаром.

«А как там, в городе? — писал далее Лукашин.— Ведь я не знаю весеннего города».

Лукашин помнил зимний город, и он нравился ему. Город был старый, со множеством деревянных построек. Лукашин любил ходить мимо Белого озера к собору на Воскресенской горе и вниз по улице Шишкова, где стояли двухэтажные, на фундаментах, рубленые особняки, с изумительным кружевом резьбы по карнизам и наличникам. Такими особняками был уставлен Савельев спуск, и морозными утрами, оранжевые на восходе, над крышами их ровно стояли дымы. Где-то за окраиной строились пятиэтажные дома новых районов, а старый город оставался таким, каким он был и сто лет назад. Стоя на Воскресенской горе, откуда был виден весь город, Лукашин представлял, как в давние времена таким же вот морозным утром, накануне базарных дней, шли из дальних деревень обозы. Как грелись мужики чаем на постоялых дворах — заиндевелые кони под навесом хрупали сеном,— а рано утром отправлялись в дорогу. И целый день в морозном воздухе слышались редкий говор обозников, и скрип полозьев, и фырканье коней...

Яковлев много рассказывал об истории города. Он был автором уже двух книг, Яковлев. Последняя нравилась Лукашину. В ней было собрано несколько коротких повестей, и первая, об охотнике, была лучше других. Простыми фразами в ней хорошо было передано состояние больного оленя, как уходил он в горы, спасаясь от волков. Как лежал на снегу, запаленно дыша, а снег подтаивал под его горячими боками. Ночь, ветер и далекий волчий вой...

Эту книжку Яковлев подарил Лукашину с теплой надписью. Лукашину мало кто дарил книги с надписями, он редко общался с писателями и верил еще в искренность слов-посвящений.

«Милый Яковлев,— писал Лукашин.— В город я вернусь, видимо, в конце мая с тем, чтобы за лето обработать собранный материал, а где-то в сентябре вернуться обратно и пожить еще месяц-полтора. Всего в письме не опишешь, да и не следует этого делать хотя бы потому, что виденное и слышанное перемешалось во мне и нужно ему отстояться, чтобы потом, посмотрев на все спокойным взглядом, дать более верную оценку и людям и делам их. Уже поздно, и я ложусь спать. Утром заедет мой новый товарищ Колька Перевалов. Он работает на самосвале, обслуживает в основном третий участок, но сейчас его перебросили на строительство дороги к Покровскому Яру. Он возит гравий с пристани. Я хочу поближе сойтись с ним...»

Лукашин запечатал письмо, написал адрес и положил на видное место, чтобы не забыть. Выключил свет, лег, накрылся одеялом.

Апрельская ночь была темна. По-прежнему шумел ветер, и редкие огоньки светились по поселку. Задумавшись, сидел над раскрытой «Историей» Бадаев; Голицын перечитывал в постели «Мастера и Маргариту»; уткнув голову в подушку, спал Колька Перевалов; заложив за голову руки, тосковала с открытыми в темноту глазами Дарья Ладыгейчева; переписывала стихи на память — «Постель была расстелена, а ты была растерянна» — из чужого альбома в свой Ангелина.

Жизнь Кольки Перевалова

От пристани, откуда Перевалов возил гравий, до строящегося участка дороги верст пятнадцать. После третьей ходки Перевалов остановил самосвал возле столовой — перекусить.

— Я рано есть не могу,— на ходу говорил он Лукашину.— Накуришься за день, утром встанешь — во рту черт знает что. Воды кружку хватанешь — и в гараж. А часам к одиннадцати начинает сосать.

Вошли в столовую, тихо у них в это время.

— Зина! Лапочка! — закричал от порога Перевалов девушке, стоящей на раздаче.— Три гуляша в одну тарелку! А то умру!

Столовские засмеялись, засмеялся и Колька, бросил кепку на табурет и пошел к умывальнику, висевшему в углу за занавеской. Лукашин взял стакан сметаны, два яйца, чай, хотел расплатиться за Кольку, но тот не позволил, сам уплатил за все вместе и перенес еду к окну. Сели, Колька съел три гуляша, полтарелки хлеба, выпил два стакана компота. Лукашин с улыбкой глядел на него.

— Во мне, слава богу, восемьдесят шесть килограммов весу,— Колька ложечкой выгребал из стакана сухофрукты,— чем-то надо поддерживать. Ну, вот, теперь до вечера. Пошли, что ли? — В кабине достал «Приму», протянул Лукашину.— Закурим — и на пристань. Не куришь? А я,— Колька выбросил жженую спичку,— лет с пятнадцати начал. Мать порола раза два, да все одно не бросил,— засмеялся.— Поехали! — Колька мягко вел машину, рассказывал.— Ты невесту мою не видел, Аньку Рогову? Да

видел, белокурая такая. Помнишь, мы пришли в кафе, а вы с Голицыным сидите. В тот вечер, когда Акимов драку затеял. Да я вас знакомил, кажется.

— Да,— вспомнил Лукашин.— Высокая, Голицын танцевал с ней.

— Вот-вот,— обрадовался Перевалов.— Я-то сам местный, а она красноярская. После армии на стройке там работал. Познакомились. И еще на одной стройке вместе были, а уж потом — сюда. Я как узнал, что здесь такое затевается, сразу же лисьмо Бадаеву. Сообщите, что н как. Он лншет: «Приезжай, работы хватит». Я Бадаева давно помню, они с отцом монм дружили н на фронт вместе уходили. Бадаев, он с Покровского Яра, а мы на Чети жили, деревня называлась Таловка. Тальники там ло берегам. Разбрелась деревня, а до сих пор стоит в глазах. Мне Бадаев говорит: «Вот, Николай, начнем заново Четь осваивать, на месте твоей Таловки новую лостроим». Дай бог, думаю...— Помолчал, а потом: — Я за такими мужиками, как он да Голицын, куда угодно лойду. Да, я ведь лро Аньку начал. Она на третьем работает, у Петухова, в брнгаде отделочников. Штукатурные работы, малярные. Осенью решили пожениться. Я особо не спешу, но и затягивать шибко не следует. Нам, мужнкам, легче, до тридцати лет можно ходить, а девчонке как чуть за двадцать леревалило, она счнтает — пора. Анне в ноябре двадцать три сравняется. Я не обижаю ее. А зачем? Они, девчонки, шибко чувствнтельные насчет зтого, переживают постоянно. А ты сам-то не женат, Валя? — повернулся он к Лукашину.

Лицо у Кольки доброе, с редкой белесой щетиной на лодбородке. Нос плоский, смешной, а глаза серьезные. Глаза н заставнлн Лукашина ответить.

— Как тебе объяснить,— сказал он.— И женат и не женат.— И неожиданно для себя добавил: — Ребенка жаль, а так — что ж, не хочет, ну и не надо.

— Понятно,— кивнул Перевалов.— У каждого что-нибудь не ладится... Валерий Павлович тоже вот затоскует иногда, по глазам видно. Спросишь о чем-нибудь, а сн и не слышит вовсе. — Притормозил машину, закуривая.— Ты знаешь, какое самое снльное средство от тоски-кручины есть? Нет, не водка. Работа. Я, когда мать умерла, места себе не находил. Отец у меня тоже шофер, войну на полуторке лрошел, вернулся, здесь года четыре работал. Ранен был, болел часто. Остались мы с матерью, я и Витька. Витька не родной брат, приемный. Детдом тут был после войны, мать пошла как-то да и привела его. И никогда между намн различия не делала. Ну вот, живем с матерью. Время мне в армию идти, а она н говорит: «Дождусь тебя, Коля, а уж тогда и помру спокойно». Отслужил я честь честью, вернулся, а она лежит, болеет. Витька не писал мне, знал, что скоро буду. Месяца три еще жива была. Она, мать-то наша, наработалась вдоволь за свою жизнь. Похоронилн. А тут тетки вдруг объявились у нас, я их и не знал до зтого. Барахло осталось после отца с матерью, так они налетели, как воронье. Посмотрели мы с Витькой на все зто, плюнули, взяли каждый себе материну фотографию, избу сфотографировали на ламять — мы тогда еще на Чети жилн — и в разные стороны. Витька сюда перебрался, в район, да ты видел его, наверное, Витька Перевалов, у Качуры на зкскаваторе работает, а я — на стройку. Я и до армнн шофернл, а там на второй класс лересдал. Далн машину, стал работать. Работаю, а мать из головы не выходит. Все вспоминаю, как жнли мы семьей одной, как она о нас с Витькой заботилась, сама недоедала. Затоскую, слушай, до слез. Только на работе и забывался. Машина не то, чтобы старая, но и не лервый год в ходу. Я ее на выходных отремонтнровал и начал нормы выгонять. Надо, к примеру, восемь рейсов за смену — я двенадцать даю. Ни лоломки, ни аварии. Стал на меня кое-кто коситься: вот, мол, за большими деньгами приехал, мотору остыть не даст. А я не ради рублей, так. Я, когда в машине, не отвлекаюсь, впереди дорога, в кабине груз — забота. Да и рубли не мешали. Я к тому времени с Анной лознакомился, дружить стали. Вечером лойтн к ней, а не в чем — все на мне солдатское. Костюм надо было купить, зимнюю одежду...

Мало-помалу стал я привыкать к мысли, что нет телерь у меня отца с матерью, сам всему хозяин. Плохо ли что, хорошо,— сам думай, располагай. С Витькой мы часто переписывались, а тут и Анна стала мне уже как бы родной. Чуть что — бегу к ней. Она детдомовская, без родителей выросла, смотрю — привыкла ко мне, н я у нее однн на всем белом свете. Водкой я никогда не увлекался особо, в компании выпьешь — другое дело. Осень — зиму мы с Анной работаем, а как лето наступает, берем отпуск, без содержания неделю-другую выпросишь, и другие края смотреть. Трн раза вместе езднли.

В хороших местах бывали, а все равно на роднну тянет. Посмотреть — ничего особого вроде. Топи да болота, как в лесне лоется. Комар ест. А все одно хорошо. Мы с Анной решили: как отстроят Покровскнй Яр, будут сдавать лервые дома, попросим квартнру. И осядем там, места вольные, поселок новый, вроде как и жизнь новая начнется. Многие рассчитывают леребраться туда. Нам Бадаев давал полдома на Полевой, да отказался я. Поживем пока в общежитиях. Отдайте, говорю, у кого ребятишки. Получим квартиру, а через год в техникум буду поступать, в автодорожный. Наш районный техннкум, на механика чтоб. Я уже давно об этом подумываю. А работать буду в колонне, пока работы для нее хватает. Я за свою жнзнь всего в двух-трех организациях поработал, но такого порядка, как в колонне, не встречал. Начальство толковое — а зто главное. Отсюда и организацня труда. Рабочий, он всегда на начальство ориентнруется. Из другнх хозяйств увольняются, к нам идут—лримнте, просятся. Конечно, и заработок привлекает. У нас старнки-механизаторы, которые на раскорчевке или вспашке, да хоть и на других работах, в два раза больше, чем начальник участка, зарабатывают. Да и не только старикн. Возьмн бригаду Бражннкова — одна молодежь. Все лосле армии, лосле курсов. А работают как — любо посмотреть. Дисциплина у них. Он, Бражников, сам на работе захлестнется, н остальные за ннм. Они его, бригадира, наравне с Голицыным почнтают. Молодежь каждый год поступает в колонну, демобилнзованные в основном. Специальности нет — пожалуйста, нди на курсы. Курсы свои при ПМК — трактористов готовят, крановщиков, экскаваторщиков. Стилендия хорошая, общежитие. Шесть месяцев отучился — лолучай машину. Главное, было бы желание жить и работать. Другого не раскачаешь. Есть тут у нас один, все космонавтам завидует. Вот, говорит, кому повезло. Слетал раз — и на всю жизнь обеспечен. Видал что... слетал! А сам курсы трактористов одолеть не может никак...

Олять сбавил скорость, закуривая. Машину по лустынной дороге Перевалов вел левой рукой, другой ломогал в разговоре. но если видел встречную илн лодъезжали к лерекрестку, клал на руль и правую.

— Я так разумею, Валя,— начал он опять.— Надо прежде всего знать свое место. Способности свои. Что ты сейчас можешь делать, а до чего не дорос. Я, к пример у, могу водить машину, знаю ее — лока все. Так чего ж я стану завидовать кому-то, Голицыну хотя бы? Поставь меня завтра на его место, и что получится — смех один. А другой лежит себе нога за ногу и размышляет: мне бы вот то, да мне бы вот

зто, а сам ни с места. В основном в колонне рабочий люд, встречаются, лравда, иногда... Завтра, кстати, заседание месткома. Будут разбирать кое-кого, приходи.— Молчал долго, думая о чем-то, лотом спросил неожиданно: — Никто тебя не обидел за зто время? Нет? Есть у нас несколько таких... После отбытия. Визгливые, как все приблатненные. За душой нет ни хрена, а пузырятся. Я б таких самосвалом сшибал. Зайдет в кафе, выльет кружку пива и начинает... А ты, если что, говори мне. Я в драки никогда не встревал, но силенка лока есть, чую. Вот! — Он сжал кулак и крутанул им.— Раз гвоздану, считай — конец. Ну, ладно, Валя, наговорил я тебе с три короба. Давай высажу, а сам в контору — Валерий Павлович просил после обеда заехать за ним.

Местком. Дела семейные

Местком собрался в конце рабочего дня. В начале седьмого бессменный лредседатель месткома, дислетчер Ерохин — бритоголовый, хмурый — сидел теперь уже за председательским столом в просторной комнате диспетчерской, разбирая всевозможные заявления, жалобы, просьбы. Подходил народ. Кроме истцов-ответчиков и прочих приглашенных, всегда, как правило, лрисутствовали начальники участков, Бадаев сидел; разговор обычно затягивался, и к концу заседания нелонятно было — местком ли зто, заседание какое лроизводственное или очередная планерка у начальника колонны?

Местком в диспетчерской, а лриглашенные все сидели в коридоре, их вызывали по очереди.

— Ну что,— лоднял от бумаг лицо Ерохин,— лора начинать. Все собрались? — И посмотрел на Бадаева, листавшего залисную книжку.

— Ты председатель, твоя власть,— улыбнулся тот.

Рядом с Ерохиным сидела, готовая вести протокол заседания, член месткома Власова, плановик колонны. Первым слушалось дело Самохина.

— Пригласите его,— попросил Ерохин.

Федор Самохин, тракторист с участка Качуры, шагнул через порог, встал тут же, лицом к столу, не поднимая глаз, с кепкой в опущенных руках. С ним вошел отец его, старик, вахтер мастерских колонны.

— О происшествии сообщит начальник участка,— объявил Ерохин, садясь.

Качура поднялся. Он не любил таких заседаний; когда разговор шел о его провинившихся рабочих, ему всегда казалось, что разбирают не рабочего, а его, Качуру, и сейчас глаза б его ни на кого не смотрели, так ему было не по себе.

— Рассказывать особо нечего,— загудел он.— В овраг залетел, вот что.

И, повернувшись необычайно быстро к двери, закричал почти, грозя лальцем Самохину:

— Ты мне что говорил, Федор?! Ты мне что говорил, когда я тебе заявление подлисывал?! Ты клятвы давал, что в рот не берешь! А телерь я красней тут из-за тебя. А телерь я тебя сымаю с трактора — вот что! Мало того — увольняю тебя!

— Погоди! Погоди! — Ерохин постучал карандашом о графин.— Иван Ефимыч, тебя местком просил рассказать о происшествии, а ты — увольнять. Он виноват, но вопросами увольнения ведаешь не ты. Сначала о деле.

— Он набедокурил, пусть и рассказывает...— Мокрый, Качура сел.

Неделю назад Федор Самохин работал на пахоте. Это было в понедельник, зарллату же давали перед выходным. Он бы, слов нет, перетерпел день, проветрил голову, но подъехал шофер, с которым выливали вчера, привез опохмелиться. Выпили. Самохин не ел ничего утром, его и повело. Чувствуя, что работать лока не сможет, он лоднял ллуг, решив угнать трактор за овраг — был через него лроезд,— чтобы не видели с дороги, и лослать. Поехал, взял сльяну левее, трактор и слолз в овраг, налетел с ходу на пень, сорвал гусеницу. Не выходя из кабины, Самохин уснул. А когда отрезвел, кинулся за ломощью. Пока гусеницу ставили, пока тянули трактор двойной тягой — овраг глубокий,— время шло.

— Николаич,— лоднялся, глядя на Бадаева, отец провинившегося.— Вы не увольняйте его, пожалейте меня, старика. Куда ему тогда — трое детей. Накажите как-нибудь, он и сам осознал, мучается.

— У тебя самого что — язык отнялся? — слросил Федора один из членов месткома.

— Первый и последний раз,— Самохин глядел в косяк.— Перед отцом обещаю... С трактора меня сняли правильно.— Повернулся к Голицыну.— Валерий Павлович, возьмите к себе, по две нормы буду делать.

Голицын молчал.

— Федор! — Бадаев снял очки, согнутыми лальцами потер глаза.— Сколько лет тебе, Федор?

— Тридцать,— ответил Самохин.

— Тридцать лет,— качнул головой Бадаев.— Трое детей.— И лоднял голос до крика:— Да ты бы отца постыдился, старик лришел лросить за тебя, как за малолетку! — Помолчал, сказал обыденно: — Как местком решит, так и будет.

— У кого какие лредложения? — лоднялся Ерохин.

— Оставить,— раздались голоса.— Всякое бывает.

— Начет сделать за ремонт, а на трактор не пускать пока.

— В ремонтники перевести его, к Ермилову.

— Правильно! У того, небось, не выпьешь лишний раз. Воспитает.

Решили так: перевести Федора Самохина в ремонтную бригаду сроком на месяц, а за ремонт трактора, простой его вычесть из зарллаты.

Самохины вышли.

— В местком поступило заявление,— уткнулся в бумагу Ерохин,— от работницы Стукачевой в том, что ее муж, слесарь Стукачев, является домой в нетрезвом состоянии, устраивает скандалы вплоть до рукоприкладства.— Сложил лист вчетверо.— Жалобы от гражданки Стукачевой постулали и раньше.

— Да мы уже разбирали его, зтого Стукачева,— сказал кто-то.

— Вот-вот. Чего с ним возиться — раз не понимает. В милицию передать дело.

— Сказал — «в милицию»... Это проще простого. Посадят, а детей кто кормить станет, ты?

— А что ты лредлагаешь?

— Убедить надо, вот что.

— Э-з, второй год убеждаем.

Ерохин и сам прекрасно помнил все разговоры со Стукачевым, женой его. Он, Ерохин, ливший даже по праздникам самую малость, не мог слокойно видеть пьяного, а ло долгу службы ему лриходилось еще и разбираться в семейных дрязгах.

Позвали Стукачева.

— Вот что, Стукачев,— посуровев еще больше, чем он был, сказал Ерохин.— Мы тут, прежде чем пригласить тебя, поговорили уже. Предулреждаем в последний раз, учитывая, что работаешь ты хорошо. Если от семьи поступит хоть малейшая жалоба о твоем поведении, сразу же лередаем дело в милицию. А там с тобой шибко нянчиться не станут. Так? — спросил он присутствующих.

Те согласно кивнули.

— А вы попробуйте пожить с этой... с моей...—

зло сказал маленький черноликий Стукачев.— По-вашему, я кругом виноват.

— Мы жить с нею не будем, Семен,— негромко подал голос электрик Сивин, сосед Стукачева.— Ты выбирал, тебе и жить. Я в соседях у тебя давно, и вся ваша семейная жизнь на моих глазах проходит. В обычные дни ты мужик как мужик. Как получил, вылил, и откуда что берется... То тебе не так, другое не этак. Ты о детях подумай.

— Дети одеты-обуты и не голодают, сам видишь.

— Одеты, вижу, но не об этом речь. Они растут и смотрят на тебя, отца,— каково им? Пусть жена в чем-то виновата, так ты себя сдерживай.

Стукачев молчал.

— Ты понял, что тебе было сказано? — Ерохин передал заявление Стукачевой секретарю заседания.

— Понял,— угрюмо кивнул слесарь.

— Иди, а мы посмотрим, понял ли.

Записали в протокол.

Следующее дело было не совсем обычным. Повариха столовой Надежда Васильевна Славина попала в вытрезвитель. Повариха хорошая и человек хороший, ничего подобного раньше не замечалось.

— Как случилось, Надежда Васильевна? — спросил недоуменно Бадаев, он еще не знал об этом. Если б бумага попала ему, то он, жалея женщину, не дал бы ей ходу, но подобные бумаги поступали Ерохину, а тот не щадил никого. Провинился — отвечай.

— Как случилось...— начала рассказывать Славина.— А очень просто. Буфетчица наша именины собирала, пригласила всех. Ну, идем мы домой: Зинка, Верка и я, все из одного краю. Песни поем. Пели, правда, громко. Смотрю, мужик идет впереди, чуть тепленький. Догоняем — мужик знакомый. Я и говорю бабам: давайте доведем до дому, а то упадет в канаву, час поздний. А тут машина эта. Схватили они мужика и грузить его, а я не пускаю. А один из них: да ты, тетка, сама пьяная. Цоп меня, да в машину. А бабы убегать, как бы их не забрали. Привезли, ночуй, говорят, завтра расплатишься. Я уж и просила их, чтобы бумагу в контору не посылали. Нет, не послушали.

Все засмеялись.

— Ладно, Надежда Васильевна, иди, да в другой раз не попадайся,— разрешил своей властью вопрос Бадаев.

И в протокол не стали заносить.

— Что с Юсуповым будем делать, Николай Николаич? — обратился Ерохин к Бадаеву.

Юсупов, спившийся вконец тракторист, несколько раз увольнялся из колонны, а уволясь, проболтавшись месяц (на работу его нигде не принимали), опять приходил с заявлением к Бадаеву. Тот, жалея хорошего специалиста, принимал Юсупова, но ничего не менялось — опять прогулы, жалобы с участка. Бадаев принимал, потому Ерохин и обратился сейчас к нему.

— С Юсуповым вопрос ясен,— сказал Бадаев.— Сил на него потрачено много, результатов нет. Оформить документы и отправить на спецлечение.

— Так, с пьяницами все.— Ерохин улыбнулся.— Теперь квартирный вопрос. К празднику Победы мы сдаем по улице Полевой два двухквартирных дома. Заявлений поступило семь, из них три на улучшение.

— Кто подал заявления? — спросили начальники участков.

Каждый из них был заинтересован, чтобы его рабочий получил квартиру.

Ерохин зачитал список фамилий.

— С квартирами надо решать так, как решали всякий раз,— поднялся начальник третьего участка Петухов.— Давать в первую очередь тем, кто давно работает, кто хорошо работает, ну и состав семьи учитывать надо, конечно.

Качура и Голицын согласились с ним.

— Дать на каждый участок по квартире,— оторвалась от протокола Власова,— одну оставшуюся — мастерским.

— Кто на улучшение подал? — спросил Бадаев.

— Ермолаев, Хафизин и Лукин,— заглянул в список Ерохин.

— Хафизину и Лукину дадим при первой возможности, а Ермолаев подождет. Он у нас полгода всего, да и семья у него — вдвоем живут. Вот еще что,— отметил в записной книжке Бадаев,— завтра дать наказ завхозу, чтобы к празднику по улице Полевой жители навели порядок каждый возле своего дома. Подправить палисадники, деревья посадить, пока не распустились, строго-настрого наказать, чтобы не выбрасывали мусор на дорогу. Кто у нас в пятнадцатом доме живет? — спросил он Ерохина.

— Соскин и Степанчук.

— Предупредите их — если и в дальнейшем станут захламлять улицу, будем переводить их в старые дома, а квартиры отдадим более достойным. Евгений Лукич, не забудь,— наказал он Ерохину.

Тот, в свою очередь, отметил что-то в блокноте.

— Следующий вопрос,— огласил Ерохин,— распределение автомашин. Все вы знаете, что в мае месяце, может быть, и ко Дню Победы, на район поступит несколько легковых автомобилей марки «Москвич». В колонну для продажи рабочим выделено три автомобиля. Заявлений у меня пять, кому предоставить право покупки?

— Те, кто квартиры просил, на автомашины не подали? — спросил Качура.

— Нет, подали другие.

— Тогда этот вопрос решать, как и квартирный. Выбрать лучших и предоставить им такую возможность. Остальным — в следующий раз.

Так и решили. Заседание месткома подходило к концу. Встал Голицын.

— У меня вот такая просьба к месткому, да и к начальнику колонны. Двое парней с моего участка женятся. Оба — после армии, после курсов недавно, помочь бы им нужно.

— Кто женится?—держал над книжкой руку с карандашом Бадаев.

— Большаков и Егоров.

— Работают как?

— Хорошо работают. Бригада Бражникова.

— Поможем, конечно,— кивнул Бадаев.— Когда свадьба?

— У Егорова на День Победы, у Большакова — в конце мая.

— Наум Наумыч,— обратился Бадаев к главбуху колонны, члену месткома.

— Ну! — сразу взял тот недовольный тон.

— Да не «ну!»! — взъярился мгновенно Бадаев, зная характер своего главбуха.— Что значит «ну!»? Как только разговор заходит о рублях — сразу «нукать». Женятся ребята, помощь надо оказать, вот что.

— Мало ли что женятся.— Главбух блестел очками.— У нас их десятки, демобилизованных, что ж, каждому помощь оказывать? А из каких фондов — хочу вас спросить? Я лично против подобного расточительства. Мы купили инструменты для духового оркестра, а они лежат, ржавеют, не так ли?

— Играют уже,— вмешался Ерохин,— репетируют к празднику.

— Фонды найдутся,— ровным уже голосом вступил Бадаев.— И помогать и покупать необходимое мы обязаны. Это наши рабочие. Для нас, конечно

очень важно ваше мнение по поводу средств, но пока колонну возглавляю я и прошу выполнять мои распоряжения. Будем считать, что вопрос с женихами решен. Кстати,— повернулся он к Голицыну,— Большакова нужно послать за пополнением. Из армии он недавно, с солдатами сумеет поговорить. Пусть это будет ему предсвадебным поручением. Не забудьте прислать его завтра в контору.

— Все,— объявил Ерохин,— заседание месткома закончено.

Закуривая на ходу, вышли из конторы. Голицын провожал Лукашина. Шли позади других, доски тротуара прогибались, поскрипывали.

— Ты что завтра делаешь? — спросил Голицын.

— Собираюсь в Покровский Яр, к Петухову. А что?

— Поедем ко мне на участок. В бригаду Бражникова. Познакомишься, ребята хорошие. Перевалов заедет за тобой.

Бригада Бражникова. Отклонение от нормы

Крайний к березняку дом по улице Полевой — общежитие молодых механизаторов. Все четыре секции занимает бригада Бражникова. С вечера ребята заняты каждый своим делом. Один ушел в кино, другой на свидание или в девичье общежитие — знакомиться. Мечтавшие поступить осенью на учебу готовились, поступившие раньше тоже сидели над учебниками: скоро сессия, экзамены в вечерней школе. Тихо в доме, соберутся часам к двенадцати, а то и позже. Иной утром придет, переоделся — и на работу.

В одной из секций, положив ноги на спинку кровати, затягиваясь махрой, стряхивая пепел в рабочий ботинок, лежит бывший осужденный, а теперь равноправный гражданин — Коля Лысый. Коле на свидание не идти, девушки у него нет, да по возрасту ему теперь не девушка нужна, а какая-нибудь вдова-неудачница лет под сорок. К учебе он давно равнодушен, а кинокартины ему надоели в колонии. Книжки он любит читать, о собаках если, под подушкой у него лежат рассказы Джека Лондона, но сегодня Коля не трогал их.

— Кафар! — говорит он в пустоту звучное и непонятное слово.

Тоска, значит. Не до чтения. И о собаках поговорить не с кем, никто тут всерьез собаками не интересуется. Лежит Коля, смотрит в потолок, тянет крепкую махру.

Секция состоит из комнаты и кухни. На кухне — печка с чайником на плите, возле окна — стол под клеенкой, посуда кое-какая. В углу у двери умывальник над тазом, возле стены — сапоги в ряд, над ними вешалка для рабочей одежды. Все это — от колонны. Кроме того, каждый украсил свой угол, как ему нравится. То повесят над кроватью кусок цветастой материи — подарок знакомой, а над ней фотографии артисток, то — репродукцию, купленную на почте. Или еще что-либо для души.

Ковра над кроватью Коли не было, но он вбил два гвоздя, на один повесил вырезанный из журнала снимок пса-волкодава, на другой — фотографию рыжеволосой, с лихим прищуром девицы. На вопросы Коля объяснял, что это его несчастная любовь, из-за которой ему пришлось горе мыкать. Все знали, что он врет, но не связывались.

В комнате Коля Лысый не один. В углу, забравшись с ногами на кровать, разложив учебники, сидит молодой парень, помощник экскаваторщика Генка Шаповалов. Он недавно из армии, невысокого роста, худощав, белесые волосы свисают надо лбом. Девчонку Генка еще не успел себе найти, в кино бы можно сходить, да надо готовиться — осенью он надумал поступать в автодорожный техникум. Лежит, листает книжки, шевелит губами.

Сунув руку в карман, Лысый поискал что-то, наконец вытащил двумя пальцами мятую трешку. Поглядел ее на свет, показал Генке.

— Добавь до флакона, пока не закрыли.

— Ты что, Коля! — Генка отложил учебники.— Видишь, я занят.

— Дело твое.— Лысый сунул трешку в карман.— А я думал, на гитаре поиграешь, попоем.

Лучше бы он не говорил об этом. На гитаре играть — Генку только попроси. Вот она, висит над головой. И алый бант на ней. Иногда они пели на пару с Колей. Голос у Коли хрипловат от махры, но песню он чувствует. Генке жаль бросать урок, но и попеть охота.

— Ладно,— говорит он и смотрит на часы,— давай деньги.

Генке Лысый налил на два пальца — молодой, учиться надо, себе — по ободок. Выпил, пожевал хлеба с луком — и так хорошо ему стало. Генка настраивал гитару. Пели они чаще всего старые песни, современных Коля не знал.

Он пел, как поют деревенские мужики на гулянках,— что есть мочи,— и хрипло рявкал в конце каждой строки. Закрыв глаза, вытянув побелевшую шею, Генка покрывал его звоном девичьего голоса своего. Спели две песни.

— Плясать пойдешь, Коля? — спросил Генка. Он любил, когда Лысый плясал.

— А как же...— Свесив ноги, Коля надевал ботинки, в которые стряхивал пепел.

— Бо-ро-да-тый Черно-мор, в Лук-о-морье первый вор,— перебирая струны, вполголоса подпевал Генка.— Он дав-но Люд-ми-лу спер, о-ох, хите-ер!

Песня тронула Лысого. Она была близка ему и понятна. Он и сам когда-то воровал, не Людмил только.

Плясал Лысый по-блатному: враскачку, заложив руки за спину. Сделав круг, он встал против Генки, перебирая ногами.

— Бабку-ведьму соб-лаз-нил...— наяривал тот.

Поплясав, Лысый допил водку, лег и затосковал.

— Я срокá тянул! — жаловался он.— У меня два побега!

Повесив гитару, Генка стал заниматься, не обращая внимания на Лысого. Коле было мало. Он вспомнил, что в кармане ватника осталась мелочь, копеек пятьдесят. Нашел ее, оделся и шустро убежал в районную аптеку за одеколоном.

В одиннадцать вечера, постучась, вошел бывший старшина второй статьи Севморфлота, а теперь бригадир молодежной бригады, Вадим Бражников. Он постучался отчасти из вежливости, а больше потому, что иногда ребята приглашали к себе девчонок, и неудобно было войти без предупреждения. Все так делали.

— Акимов где? — четко спросил Бражников, оглядывая комнату.

— А я почем знаю,— ответил Генка. Он уже начитался вдоволь и собирался спать.— Ушел куда-то.

— Пил он здесь? — Бражников потянул носом, заглянул под кровать Коли.

— Нет, не пил.— Генка разбирал постель. После ухода Коли он проветрил комнату, а бутылку выбросил в бурьян.

— Та-ак, значит,— протянул Бражников и, ничего не сказав больше, вышел.

Ему, собственно, плевать было на то, где сейчас Акимов. Идти искать бесполезно — темь, магазины закрыты. Важно, чтобы Акимов завтра вышел на работу, а не прогулял. Если будет ночевать в общежитии, утром ребята подымут его. А не вернется — верный прогул. Вот что беспокоило бригадира Бражникова.

Более всего в жизни Бражников любил дисциплину. Дисциплина и цель — вот формула, по которой он жил. Без дисциплины не достичь цели, а цель должна обязательно стоять перед человеком, иначе зачем жить? Так рассуждал Бражников. Тот, кто не разделял этой теории, был неинтересен ему. Цель постоянно стояла перед ним. Одна, большая и не вполне ясная самому Бражникову, светилась где-то далеко-далеко. Остальные были помельче. Например, многие ровесники, с которыми он пошел в первый класс, бросили школу, одни — после семилетки, другие — позже чуть. Бражников поставил перед собой цель: закончить десять классов. И закончил. Подошло время идти в армию. Бражникову очень хотелось попасть на флот. Рост у него был хороший, и просьбу его в военкомате уважили. Правда, ему предлагали пойти в училище, но это не входило в планы, и он отказался. Просто пошел служить, и все. Дисциплина, приказы и четкое исполнение их — это то, что нужно было Бражникову, и к концу службы он стал подумывать о том, чтобы остаться на сверхсрочную. Но когда перед самой демобилизацией в их части появился представитель мехколонны с предложением поехать на освоение пойменных земель, Бражников согласился и уговорил еще десятерых товарищей по службе. Вместе приехали на Чулым-реку, вместе закончили курсы по специальности, кто какую выбрал себе, и стали работать. Поскольку на службе Бражников был старшим по званию среди своих товарищей, то и здесь он стал старшим — бригадиром. Бригада пополнялась, теперь она уже была разбита на два звена, во главе звеньев стояли звеньевые — помощники Бражникова во всех его руководящих делах. Меняясь понедельно, звенья работали в различные смены, соревновались между собой, а в целом бригада вела соревнование с другой бригадой участка, в которой работали механизаторы старшего возраста.

Над койкой Бражникова висел твердый распорядок дня, начинаясь словом «Подъем», а на одной из страниц блокнота был составлен примерный план на месяц: написать письмо, отправить матери двадцать рублей, прочитать книгу «Порт-Артур», подготовка к сессии, прочие дела. В прошлом году Бражников поступил в институт на отделение мелиорации сельского хозяйства. Почти все в бригаде занимались — кто где, а с теми, кто еще сомневался, что учение — свет, бригадир постоянно проводил разъяснительную работу. Каждую неделю, вечером, в общежитии проходило собрание бригады, где подводились итоги соревнования между звеньями и бригадами. Редактор «боевого листка» Генка Шаповалов должен был все достижения бригады постоянно отражать в стенной печати.

Планы Бражникова на недалекое будущее были таковы: для себя — среди прочих забот — учеба в институте, для производства — вывести бригаду по трудовым показателям в число лучших и в конечном счете занять первое место среди бригад колонны. Все было хорошо... Зимнюю сессию Бражников сдал, надеялся сдать не хуже весеннюю, все другие личные дела так же двигались, бригада успешно соревновалась с бригадой стариков, все было хорошо, пока в бригаду не пришел Акимов.

Акимов раньше работал со стариками, но не поладил с ними, и Голицын перевел его в молодежную, хотя Коле, слава богу, было около сорока. На третий же день Коля загулял и на работу не вышел. Бражников, как и полагается, попытался объяснить Коле, что так делать нельзя, трактор простоял день и норму выработки его, Акимова, ребята вынуждены были распределить между собой.

Бражников доверительно посоветовал своему новому бригаднику впредь не делать подобных глупостей, вступить на честный трудовой путь, выполнять норму, и тогда ему, Акимову, честь и хвала.

Акимов же не внял советам и сказал, что он на такое начальство... положил. Бражников, конечно, обиделся, хотел показать, что такое удар сбоку, но передумал, решив, что это не метод воспитания, и вынес вопрос об Акимове на общее собрание бригады. На собрании Колю коротко предупредили, что если он и впредь намерен валять дурака, то его просто-напросто выгонят к чертовой матери — только и всего. Коля обещал исправиться. Ему вовсе не хотелось уходить из колонны, он и так вдоволь помыкался после освобождения. В различных конторах, куда Акимов обращался по вопросу трудоустройства, с подобной справкой, какая была у него на руках, принимать на работу не шибко торопились, и кто знает, может быть, Акимов в который раз уже предстал бы перед судом, если бы не Голицын.

Месяца два он работал наравне со всеми, а сегодня сорвался опять. После запоя приплелся Акимов в общежитие и свалился. Утром ребята растолкали его, дали на опохмелку кружку холодной воды. Кряхтя и матерясь, Коля собрался и влез в автобус — посуху бригаду на участок и обратно возили на автобусе.

Бражников проследил, как Акимов завел трактор, сел и выехал на вспаханное вчера поле, чтобы продисковать и заборонить его. Сам бригадир — он корчевал — работал за версту в стороне...

Лукашин и Голицын приехали на участок в одиннадцать. На поляне, возле мелкого осинника, недалеко от пробитой тракторами и машинами дороги, стоял на колесах вагончик — полевая кухня бригады. Вагончик покрашен в зеленый цвет, над крышей плескался узкий вымпел, на торцовой стене — прямоугольник фанеры: «Комплексно-молодежная бригада Бражникова». Ниже — обязательства, взятые бригадой, мелом были проставлены гектары и процент выполнения. К дверям вагончика прислонена в три ступени лесенка, внутри вагончик делился надвое: в одной половине — кухня, в другой — столовая. Две поварихи готовили обед.

Кормили рабочих (в бригаде стариков был свой вагончик) два раза на день — перед работой и в обед. Кормили под запись, то есть в зарплату высчитывали стоимость обедов, кормили хорошо, и обеды стоили копейки по сравнению с обедами в районной чайной. Акимов, пропивая вчера последнюю трешку, не страшился помереть с голоду до зарплаты.

Отовсюду доходил приглушенный перелесками шум тракторов, работали сразу в нескольких местах — корчевали и подбирали сучки, распахивали и дисковали раскорчеванное. Ближе других от вагончика находилось поле, на котором работал Акимов. Заглушенный трактор его стоял в конце полосы, самого Акимова не было видно. За осинником пахали, на одном из тракторов работал звеньевой Ахметзянов. Голицын прошел туда.

Приглушив трактор, чернобровый татарин Ахметзянов, голый по пояс, вылез из кабины, пошел навстречу, показывая в широкой улыбке крупные зубы.

— Ахмет,— спросил Голицын,— что-то я Акимова не вижу? Трактор стоит.



— Чай пьет! — засмеялся Ахметзянов и махнул в сторону перелеска.

Лукашин с удивлением рассматривал на плече тракториста наколку: «Не забуду родную брату которая погибла за проклятую бабу».

— Что же ты ему не скажешь? — улыбаясь спросил Голицын (он тоже впервые видел татуировку).

— А что я скажу? — пожал плечами Ахметзянов. — Взрослый человек, сам знает.

Пошли искать Акимова.

За трактором — со стороны поля не видно,— сидя на низком пне, Коля Лысый варил чефир. Утром он помог поварихам наколоть дров, за что выпросил у них горсть чайной заварки, и теперь, обмотав толстой алюминиевой проволокой брошенную консервную банку, Акимов держал над костерком чефир, рассчитывая поправить голову. Он и не слышал, как подошел Голицын с Лукашиным.

— Скоро будет готов? — спросил Голицын за спиной Акимова.

Акимов вскочил и поставил банку на пень.

— Выплесни,— кивая на банку, попросил Голицын,— сердце испортишь.

— Мое сердце, начальник, давно испорчено,— взял Коля тон, каким разговаривал в колонии с новобранцами. Он чувствовал, что не надо бы ему так начинать с Голицыным, но с утра был зол и сдержаться не смог.— Мое сердце, начальник...

Носком сапога Голицын ударил банку. Та, расплескивая чай, кувыркнулась в траву, Акимов побледнел.

— Да я тебя заделаю, как последнего фраера! — сдавленно хрипанул он, кинулся к открытой кабине и схватил ключ на сорок пять.

Лукашин нагнулся, чтобы поднять короткий обломок березового сука, и не увидел, как вскинул руку с ключом Акимов, как, опережая его, вскинул руку Голицын, и вот уже, разбросав руки, Акимов летит через пень к трактору, а ключ, вырвавшись из его рук,— дальше. Голицын поднял ключ, бросил в кабину и закрыл дверцу. И встал рядом.

— Крепко бьешь, начальник,— вытирая ладонью разбитую губу, не подымаясь, сказал Акимов.— Я сам часто бил, но ты крепко бьешь, начальник.

Голицын шагнул, сел на пень против Акимова.

— Акимов, кто уговорил Бадаева, чтобы тебя взяли на работу?

— Ты, начальник, ты.— Акимов сидел на траве, опираясь на руки.— Я тебе спасибо сказал.

— Вот что, если хоть раз услышу от Бражникова, что ты сделал прогул или вот такой перекур, как сегодня,— на завтра получаешь расчет. Понял?!

— Понял, начальник.

— Будь здоров. Садись и работай.

Надев на палец проволоку с банкой, Голицын молча пошел к машине. Он уехал, начальник первого участка, и не видел, как, передвигая рычаги работающего трактора, плакал Акимов.

Не от обиды плакал, не пролитого чефира было жаль ему, а оттого, что на всем белом свете никто не понимает его, Колю Лысого, а по паспорту — Николая Михайловича Акимова, тридцати девяти лет от роду.

В сорок пятом, когда мать померла, а отец еще воевал, Колька Акимов перешел жить к тетке, материной сестре. У тетки своих трое, Колька ей был не шибко-то и нужен, и уговорила она его пойти в ФЗО. Колька пошел в ФЗО учиться слесарному делу. Кормили их сдержанно, и как-то вечером двое дружков подговорили Кольку залезть в кладовую, где хранилась фезеушная одежда, и выбросить несколько пар ботинок. Ботинки эти рассчитывали продать на «барахле», чтобы хоть раз пожрать как следует. Дружки подсадили Кольку — он был меньше их ростом — в выставленное заранее окно, а сами остались внизу, ожидая. Колька, плутая в темноте кладовой, успел выбросить только одну пару. Дружки убежали. Будучи повзрослей и похитрей, они дали знать Кольке, что если он назовет их, то ему будет худо. И Колька сказал, что это были ребята из города, которых он плохо знал. Так он очутился в колонии. Из колонии бежал и снова попался на краже, теперь уже сознательной. А потом и пошло.

И воровал-то он больше по ерунде: то белье стянет с веревки, то сумку на базаре сопрет. Колька взрослел, мотался по колониям, полысел, потерял часть зубов. Ни семьи, ни дома у него не было. На Колькину внешность женщины не обращали внимания, а может, какая бы и нашлась, да где ж обзаведешься женой и домом: только освободился — глядь, опять взяли.

Колька любил повторять, что в каждом городе у него три дома: тюрьма, больница и милиция—и три машины: такси, «Скорая помощь» и «черный ворон». В колониях Акимов работал исправно, не скандалил и, старея, все чаще стал задумываться о своем доме. Купить в деревне дом, собаку завести, а то и две, ходить с ними в лес.

Освободившись в областном городе, Акимов пробыл там несколько дней — было много соблазнов, а он сказал себе: хватит, так и всю жизнь можно за проволокой провести. Прочитав в объявлении, что там-то и там-то требуется рабочая сила, Колька поехал на Чулым-реку устраиваться. Устроиться ему не удалось, и он уже пожалел, что уехал из города, когда случай столкнул его с Голицыным.

Вечером Акимов сидел в районной чайной, купив на последний рубль три кружки пива. Впереди была ночь, и Акимов обдумывал, как лучше провести ее, чтобы с рассветом на попутных покинуть эту землю.

А Голицын зашел в чайную купить папирос. На оставшуюся от рубля мелочь он взял кружку пива и случайно оказался за одним столом с Акимовым. Акимов все поглядывал на него, определив каким-то чутьем, что перед ним начальник, и добрый.

— Работу ищу,— глядя в сторону, сказал он. И, чтобы сразу стало все понятно, добавил: — Освободился недавно.

— Что умеешь делать? — спросил Голицын, разглядывая говорившего.

— Трактор знаю,— ободрился Акимов,— на лесоповале работал.

Голицын допил пиво, вынул ручку, блокнот, написал свою фамилию, адрес конторы, протянул листок Акимову.

— Завтра, в половине девятого.

Так Акимов стал трактористом первого участка. И вот сегодня он кинулся на своего спасителя с ключом. От всего этого Акимов плакал теперь.

— Женюсь, корову куплю,— всхлипывая, разворачивал он трактор в конце полосы.— Узнаете, падлы, Колю Лысого.

На второй день, после работы, Голицын зашел в общежитие. Акимов по обыкновению лежал, положив ноги на спинку кровати. Увидев Голицына, приподнялся.

— А я к тебе, Николай,— поздоровавшись, сказал Голицын и сел на предложенный стул.

Ребята, чувствуя разговор, ушли.

— Знаешь что, давай хоть раз с тобой в кино сходим.

— Чего-о?! — протянул удивленно Акимов.

Он никак не мог сообразить, что сам Голицын, начальник участка, который вчера так обидел его — не тем обидел, что ударил, а тем, что чефир разлил,— сегодня сидит рядом и приглашает в кино.

— Смеетесь...— ухмыльнулся Акимов.

— Зачем? — Голицын достал два билета.— Вот, пожалуйста, на восемь тридцать. «Белый клык», по Джеку Лондону.

Акимов заволновался. Сходить страсть как хотелось, но приодеться как следует не во что было. И стыдился он сказать об этом Голицыну.

— Ты пока переодевайся,— Голицын встал,— а я пройду по комнатам, посмотрю, как ребята живут.

Прошел за стену и отвел Бражникова на кухню. Минут через двадцать вышел переодетый Акимов.

Возле кинотеатра, куда они вскоре подошли, прогуливался Перевалов с Анной. Была с ними подруга Анны, Нюша.

— А-а, Николай!— поприветствовал Перевалова Голицын и поклонился девушкам.— У вас какой сеанс?

Оказалось — на восемь тридцать. Голицын представил Акимова, и они стали прогуливаться все вместе. И ряд у них совпал — пять кресел возле стены.

После сеанса Голицын попрощался сразу же, а Нюше сказал серьезно:

— Вы одна домой не ходите, вот Николай вас проводит.

И, пожав всем руки, ушел.

— Ну что, понравилась тебе Нюша? — спрашивал на другой день Акимова Голицын, когда они, сидя поодаль от других, курили в обеденный перерыв.

— Козырная баба,— сознался Акимов,— в кино звала опять. Да шмоток вот нет.

— Вот что,— предложил Голицын.— Я скажу ребятам, они тебе соберут сколько нужно. Но — не пить, предупреждаю, а в зарплату рассчитаешься со всеми, слышишь?

— Век свободы не видать! — захлебнулся Акимов.— Да что я, ханыга какой!

— А он ничего,— говорила наутро своей подруге Нюша.— Только плохо вот, что лысый. Я, знаешь, люблю больше, когда чуб волной.

— Ну, что поделаешь,— развел руками слышавший это Перевалов.— Не всем же с чубами, кому-то и лысому надо быть.

Нюша Сазонова, еще школьницей собирая с матерью малину, наткнулась на ветку и поранила глаз. Бельма не случилось, но глаз сощурился, и видела им Нюша плохо. Школу она после семи классов оставила, позже закончила курсы штукатуров-маляров и переезжала со стройки на стройку, живя в общежитиях. Последнее время привязалась она к Анне и, зная, что та скоро выйдет за Перевалова, ревновала ее. Шел Нюше тридцатый год, и была она по пословице — и не девка, и не баба, и не мужняя жена. А фигурой была видная, характером добрая, только вот глаз... Приставали к ней ребята всегда, но всерьез никто не принимал.

Нюша стала расспрашивать Перевалова об Акимове, тот расхвалил тракториста — и не пьет он и специалист первый на участке, в общем, советовал продолжать знакомство. А сам, возвращаясь один раз с участка, посадил Акимова в машину и всю дорогу втолковывал ему:

— Нюша спрашивала о тебе, понравился ты ей, оказывается.

— Да ну!..— не верил Акимов. Он уже и не представлял, что может понравиться какой-то женщине.

— Да-а, понравился,— продолжал Перевалов.— Еще спрашивала она, а почему ты один до сих пор. Может, семью бросил? Я сказал, что все в порядке. Что была у тебя невеста в свое время, да вышла замуж за другого, а ты никак не можешь забыть ее, потому и одинок.

Акимов только головой крутил.

— И что к нам ты по оргнабору приехал. Запомни, по оргнабору. Понятно?

— Ну, понял.

— Вот тебе и «ну»,— посуровел вдруг Перевалов.— Ты хоть понимаешь, какая тебе баба попала? Наглеть начнешь с нею — лучше на мои глаза не попадайся. Все. Приехали.

И самосвал притормозил перед общежитием.

Третий участок

По дороге на Покровский Яр возле Тегульдетского своротка Бадаев велел остановить машину. Вылезли все. Шофер пошел вокруг машины, ударяя в скаты ногой. Бадаев с Лукашиным вышли на дорогу.

— Валя, обратите внимание,— указал Бадаев в сторону Чулым-реки.— Видите курган там, где впадает Кия? Левее чуть перелеска?

— Прекрасно вижу,— сказал Лукашин.

— Курган этот — могила остяцкого князя.— Бадаев прислонился к дереву, освобождая от тяжести тела больную ногу.

— По преданию, этому кургану сотни лет. Когда-то в этих местах в средней части Чулым-реки, по Кии, Чети, Мачеге жило многочисленное племя остяков, занимавшихся охотой и рыбной ловлей. Так они жили долгое время, но потом остяков стали теснить хакасы, пришедшие с далекой реки Чуны. И вот здесь, где Кия впадает в Чулым-реку, произошло сражение между племенами. В этом бою пал предводитель остяцкого войска князь Чулым, остяки были разбиты и изгнаны со своих земель. Но хакасам не понравились эти места, захватив добычу, они вернулись на Чуну. Узнав о том, что хакасы ушли, к месту сражения вернулись остяки, чтобы похоронить своего военачальника, тело которого они вынесли с поля боя. Над его могилой остяки насыпали холм. Землю для холма приносили со всех владений, некогда принадлежавших князю. Похоронив князя, остяки не остались жить на своих местах, они ушли вниз по Чулым-реке, а потом дальше на север. Несколько семей осталось еще по Чети и в верховьях Мачеги. Существует много всяких легенд об этом кургане, я рассказал вам одну из них... Кстати, мы стоим у начала новой дороги, идущей от поворота прямо на Покровский Яр. Как только закончится строительство моста, расстояние до поселка сократится, подвоз рабочих и строительных материалов пойдет через новый мост. Нам бы эту дорогу в прошлом году протянуть, да все руки не доходили.

Сели в машину и поехали к поселку кружным, дальним путем.

В двадцати километрах от районного села, вверх по течению Чулым-реки, на берегу, на месте бывшей деревни Покровский Яр строился новый поселок. Строительство вел третий участок. Сборные двухквартирные дома решено было ставить тремя порядками, так, как когда-то стояли деревенские избы. Первый порядок—на берегу Чулым-реки, огородами к воде, второй — через улицу, огородами к старой дороге, третий — за ним. Скотные дворы, гараж, мастерские и другие хозяйственные постройки выносились за черту поселка, за третий порядок, к перелеску. За перелеском этим на юг начинались поля — старые поля деревни Покровский Яр и новые, подготовленные колонной. Они обходили слева Большое болото и терялись среди березовых согр и зарослей тальника в средней части Кии. На север, за Чулым-рекой, вперемежку с болотами, синел до самого горизонта островерхий еловый лес,

на запад от поселка, через Кию, к районному селу уходила новая насыпная дорога.

По ней, оставив Лукашина в поселке, уехал Бадаев посмотреть, как идет строительство моста.

В поселке заняты были рабочие различных специальностей, строилось сразу несколько объектов, руководил строительством начальник третьего участка Арсентий Лукич Петухов.

Арсентий Лукич возрастом старик уже. Ростом невысок, суетлив, скор на ногу. Все стремится куда-то: показать, объяснить. Лицо в недельной щетине, в морщинах-складках, и на лице этом, ничем не примечательном, удивленные глаза. Будто вывели однажды Петухова на свет божий, раскрыл он глаза, ахнул от радости да так и сохранил по сей день это выражение.

Лукашин в поселке второй раз. Когда они приезжали сюда впервые с Бадаевым, пробыли недолго, и Лукашин не успел ни рассмотреть старика как следует, ни поговорить с ним. Тогда Петухова в конторе участка не оказалось, и они пошли мимо домов, спрашивая встречных.

— Лукич? — отвечали им.— А он только что был. Помогает где-нибудь.

— Вот я! — дошло из одного дома, и в оконный проем вылез Петухов. Никудышная совсем шапчонка съехала на сторону, ватник и штаны на коленях были в растворе — Петухов показывал девчонкам-штукатурам, как правильно класть на стену первый слой раствора.

Он вытер руки о полы ватника, поздоровался. Говорил и все усмехался беглой усмешкой, открывая желтые, плотно слитые зубы. Повел показывать, что сделано.

— Лукич, ты начальник участка или кто?—спросил на ходу Бадаев.

— Знамо, начальник,— осторожно ответил Петухов. Он не то чтобы побаивался Бадаева, не знал, к чему клонит тот.

— А раз начальник,— продолжал Бадаев,—то должен руководить, сидя на месте. А то приедешь — тебя нет. То ты печникам показываешь, как печку класть, то возле плотников. У тебя на это прораб есть, мастера, бригадиры, наконец.

— Э-э, Николаич,— отмахнулся старик,— сидя каждый руководить сможет. Это простота. А показать да научить некому. Смолоду я не распоряжался, не приказывал, а уж теперь и совсем ни к чему это. А я подойду к тому же печнику, спрошу, как бы между прочим, чтобы не обидеть человека, что у него не ладится, да с ним же и начну работу. А уж дальше он и сам поймет...

Сейчас Лукашин один ходил по поселку. Не Петухова искал, просто так ходил, смотрел. Часто лежали кучи навезенного кирпича, песка и гравия, возле штабеля досок звенела пила-циркулярка, резко пахло опилками, прогретой щепой, отовсюду доходил стук топора.

Петухов встретился в конце первого порядка, узнал, поздоровался первым, подавая руку. Начинался обеденный перерыв, рабочие, оставив дело, направлялись в столовую, а Лукашин с Петуховым отошли к берегу, к лежащим брусьям, сели лицом к воде.

Теплый стоял день. Петухов снял шапку, положил рядом. Над седой, коротковолосой головой его чуть заметный подымался парок. Расстегнул ватник. Закурили...

— Дома́ все брусчатые? — спросил Лукашин, поглаживая шершавую боковину бруса.

— Все, как один,— кивнул старик.— Мы, видишь, Валя, как решили: из кирпича только фундамент даем, ну и яму подпола им же выкладываем. А сам дом весь брусчатосборный. А школу вот, магазин, контору — целиком из кирпича. Ну и хозяйственные постройки. Оно можно б, конечно, и дома кирпичные, да завод у нас маленький, не успевает поставлять всем. Сейчас ведь в любом хозяйстве по району скотные дворы — сплошь кирпич. Лес много дороже стал. У нас тут теперь строевого леса нет, давно вывели.

— Хорошее дело затеяли, а, Лукич? — кивнул на порядок домов Лукашин.

— Чего ты? — повернулся Петухов. Задумчив он был; забыв в отставленной руке папиросу, смотрел на текучую воду Чулым-реки.

— О поселке я говорю... Строить начали, хорошо это.

— Это не просто хорошо, это распрекрасное дело, милый мой. Жизнь заново начнется. Сколько семей сюда переедет, новоселья пойдут, радости, свадьбы, дети рождаться станут. А то, мыслимое ли дело — земли бросать. Была деревня — и нет ее. Как это так? Это ж чрезвычайное событие — человек не захотел жить на родной земле. А почему? Что тебе недостает для жизни? Нет, никого не интересует. Уехал, ну и езжай. А сколько труда в эту землю вложено, сколько сил, жизней людских...

Помолчал, прикуривая. Повернулся вполоборота к домам, Лукашин сидел лицом к нему.

— В третий раз приходится строить мне на этом месте. Теперь уж, видно, и в последний.— Усмехнулся.— На фундаментах ставим, а они долго стоят. Да и не думал я, что доживу до таких дней, чтобы заново все начинать.

— Как это? — не понял Лукашин.

— А тут, видишь, раньше деревня стояла Покровский Яр. Слыхал, конечно. Деревня настоящая, то есть избы рубленые, дворы. А еще раньше, в тридцатом, когда мы переехали сюда,— ровное место. Стали мы землянки рыть, земляную деревню построили, значит. А во-он там,— Петухов повел рукой назад, вверх по течению,— возле яра самого стояла изба зверолова Покровского. Оттого и деревня стала так называться. Мы тогда ходили к нему сало барсучье покупать от простуды...

Петухов вдруг вскочил и мелкой, стариковской рысью побежал к только что подъехавшему самосвалу, крича на ходу:

— Ты куда заехал?! Куда заехал, тебя спрашиваю?! Разве здесь кирпич нужен! Разворачивай!

Молодой сонного вида парень уже подымал кузов самосвала, чтобы свалить привезенный кирпич.

— Объедешь вокруг дома, во-он туда,— указал Петухов,— там и свалишь.

— Откуда я знаю,— гундел недовольно парень.— У вас тут не поймешь, где что.

— Видишь, как,— запыхавшись, вернулся старик.— Ему лишь бы свалить — в столовую торопится. А его потом, кирпич, таскай за пятьдесят метров вручную.

Он отдышался, надел шапку. Ветер тянул с реки. Так без шапки и бегал.

— О чем я тебе говорил? — спросил, улыбаясь удивленным лицом своим.

— Арсентий Лукич, а как же вы сюда попали, не понял я?

— А очень просто — переселились. Переселенцы мы. Один приехал, посмотрел, за ним остальные перетянулись. В степи до того жили. Сушь там, место голое, ни деревца, ни кочки. Зимой как задует... Топились кизяком, будыльем, соломой. Это сколько ж соломы надо на зиму? А главное — вода соленая. Да и ту, пока достанешь — не рад ей. Колодцы до десяти саженей рыли. А здесь лес кругом, река. Стали мы охотой промышлять, рыбу ловить. Комары, правда, донимали, морозы круче здесь. Зато метелей меньше, да и тише они: лес — не разгу-

ляешься. Через год-другой ко всему привыкли. Приехали мы в конце лета, стали землянки копать. Зиму в землянках, а весной, посуху, лес стали валить, избы рубить. Я смотрю, как сейчас корчуют, и вспоминаю, как мы корчевали, земли под посевы готовили. Бабы с лопатами да топорами корни рубят, а мы перехлестнем веревку через вершину и тянем, а потом волоком в сторону. Почти все земли, что сейчас брошенные лежат вокруг Покровского Яра,— наша работа. Все мы, Петуховы, портняцкого роду. Деды-прадеды всю жизнь свою портняжили, и отец мой тоже. И меня он лет с десяти стал приучать к своему делу. Это там, на старом месте. А здесь другим ремеслам пришлось обучаться. Дядя мой, отцов брат младший, первый отошел от портняжества. В тайгу его потянуло, к воде. Он и уговорил отца — поедем да поедем. Переехали...

— Так с той поры и прожили здесь? — спросил Лукашин.

— Так и прожили. Я когда с войны пришел, на тяжелую работу не гож был. Жизнь все-таки трепанула меня, как ни хорохорился. Да и война опять же — считай, пять лет в пехоте, на ногах. Плотничал все годы. Когда деревня разъезжаться стала, перебрались и мы в район. На стройучасток пошел. Качура Иван Ефимыч уже работал там. А когда Бадаева назначили начальником колонны, он же и взял меня к себе. Бадаев, он с Покровского... Вызывает как-то: ну, Лукич, решено строить новый поселок на месте нашей деревни. Начинай. Обрадовался я. Стали бригады дополнительные создавать, планировать, рассчитывать, материалы нужные забрасывать. И пошло с того дня.

— А портняжить не пришлось, Арсентий Лукич?

— Нет, не пришлось. Первое время шил кое-что для себя, а потом жене передал. Ей это сподручней. А сам плотничать начал, столярным делом занялся. Тут рядом несколько старых деревень было, керчачьих, так я у мужиков плотницкому делу учился. В степи лесу нет, ремесло это не в ходу, а тут топор из рук не выпускаешь. Печки научился класть, пимы катать. Сейчас вон промкомбинат в районе, отдал шерсть, через месяц—другой пимы готовы. Да и в магазинах продают. А тогда — все сами. Также и сапоги. Сапоги я долгое время шил, а теперь какой год инструмент лежит без надобности. Всему помаленьку научился. Часто выручали ремесла, хоть и на войне возьми.

— Скоро, видно, на пенсию вам? — Лукашин глядел на белую голову старика.

— А совсем скоро, милый. Последний год работаю. Вот поселок построим, получим со старухой квартиру да и переедем. Я уж и дом себе присмотрел, на том самом месте, где землянка моя была. Хочу умереть здесь. Кладбище наше во-он там, в березняке. Участок сдам кому помоложе, а сам пособлять буду хозяйству, пока руки топор держат.

Помолчал, думая о чем-то. Лицо серьезным было. Сказал для себя больше, Лукашину непонятное. Говорил, будто сам в себя смотрел. Давнее, видно, высказывал.

— С руками оно проще, сынок. Руки слушаются, помнят ремесло. С душой тяжельче. Душа, она как вода. Не возьмешь ее, не поймаешь. Я вот всю жизнь заставлял себя прощать других. А нет, не выходит. Получается, против воли своей идешь, против сердцевины своей, души, значит. Видно, так и надо. Добро добром, обида обидой. Это я к тому, что не всегда мы ладили тут между собой. Всякое бывало. Иных и людьми назвать нельзя. Вот уж умирать стану, переломлю себя, всех добром помяну. Жизнь, Валя, совсем малая, миг один и в то же время ох, как длинна. Иногда такая усталость сладет на душу, будто три жизни прожил. И согнет тебя не раз и скрутит всего, а потом — ничего, выправит. А бывает, и сломит. Только в том-то и сила твоя человечья, если не уронил ты себя в такие минуты, не дал кому-либо пострадать из-за слабости своей душевной. А уж как не сдержал себя, стал лукавить, то ко дню твоему последнему ничего человеческого не останется в тебе. Гниль одна. Только и спасенье в том, что через одно-два поколения забудется все, травой зарастет. Будто ничего и не было...

Долго молчали. Лукашин, слушавший внимательно не законченный с кем-то спор старика, спросил о детях.

— Есть и дети, а как же. Дочка и два парня. Тут же, по району живут. Учительствуют. Сюда собираются переехать, в одной школе работать чтоб. А ты, коль людьми интересуешься, сходи на хутор. Мой тебе совет. Вот как пойдешь от поселка по дороге к новому мосту, по левую сторону от моста верстах в двух хутор стоит. Сходи, хуторок посмотришь, старики там хорошие живут. Еще живет там лесник Тимофей Еграшин, лет сорок ему, не больше. Фигура занимательная. Я к нему давно приглядываюсь. У нас тут, как только надумали поселок строить, пожар случился. Завезли часть кирпича, пиломатериалы, а на вторую ночь три машины досок сгорело. Что да кто? А откуда узнаешь, кто. Бадаеву неприятность. Мы тогда собрались между собой — прораб, мастера — да и выплатили стоимость досок. Хорошо, что три машины всего было. Как стану вспоминать это, так Еграшин на ум приходит. Он всю жизнь свою недоволен. Всем недоволен. Ни войны, ни других обид-лишений не видел он никогда. Откуда это недовольство возникло, вот что я хотел бы знать. Пойди познакомься. Да не задирай его поначалу, слушай больше. А то он мужик горячий, отматерит еще... Тут, когда колхозы стали организовывать, потеснили кое-кого. Некоторые, предвидя такое, заранее уезжали подальше на север. С ними и старик Покровский. Опасаться ему особо нечего было, жил промыслом, лес и река — все доходы. От других тем только отличался — подчиняться никому не мог. Власти над собой не терпел. Тимоха весь в него. Когда слух прошел, что дело к колхозам идет, Покровский собрал всех своих, ушел вниз по Оби и осел на одном из глухих притоков. Далеко от наших мест. А усадьба их сгорела на вторую же ночь. Говорили, что старик вернулся тайком да сам и поджег, но точно никто не знал. Тимку они парнишкой увезли отсюда, а вернулся он уже взрослым. Где и как они там жили, никогда никому он не рассказывал. Обмолвился только раз, что похоронил своих в верховьях Кети, а сам приехал сюда, где родился. Потянуло. С тех пор и живет. Тебе-то не знамо, а я как погляжу на Тимку, так деда Савву вспоминаю. Вот был ухарь! Какой там колхоз, ему только ватагу по лесу водить. Вольный был человек. Хорошо, что догадался сам уехать, а то все одно увезли бы. Ох, кажись, Николаич приехал. Заговорились мы с тобой, Валентин. Пойдем, а то искать зачнет.

Бадаев стоял возле самосвала, слушал ругань прораба. Шофер, что привозил кирпич, на этот раз привез раствор и, не узнав ни у кого, свалил возле дома, который уже оштукатурили. Прораб налетел на него, а он стоял возле машины и сонно глядел перед собой, будто и не касалось его.

— Черт знает, что за человек! — не стеснялся прораб.— А в армии служил! Ему свиней пасти, а не на машине. Говорили вам, не берите кого не следует!

— Говорили, помню,— согласился Бадаев.— А не

ты ли в прошлый раз просил на планерке — бери, кто подвернется. Машины простаивают. Вот и подвернулся. Воспитывай теперь по ходу дела.

— Воспитаешь их, в ребра мать!

— Слушай, парень,— подозвал Бадаев шофера.— Ты или работай как следует, или...— Покосился на Лукашина.—...выгоним к чертовой матери.

Пошли в контору, разговаривая по пути о делах. Лукашин шел сбоку.

— Штукатурка сухая поступила на пристань,— говорил Бадаев Петухову.— Машины надо посылать. Завтра с утра, чтоб за день вывезти.

— Пошлем,— кивнул Петухов.— Только где ее использовать станем? На кирпичных постройках?

— На кирпичных, конечно, но не сразу. Пусть здания осадку дадут, а то коробом пойдет штукатурка.

— Шабашники опять приехали,— сообщил Петухов,— просятся.

— Мы ведь договорились — шабашников не принимать. Своими силами обойдемся.

— Не обойдемся, в чем и дело. Не укладываемся в сроки. А их — бригада целая. Пятнадцать человек. Пятеро кладку могут вести, остальные — плотники. Пятерых можно на школу поставить, а остальных — на дома, на сборку второй очереди.

— Ладно, заключай договор. Только так — никаких лишних рублей. Что заработал, то и получи. Во времени их не ограничивай.

Пришли в контору, стали разбирать, рассматривать деловые бумаги по строительству, сверять, высчитывать. Долго сидели. Закончили наконец.

Вышли на воздух. Стоя возле машины, Бадаев долго смотрел на готовые дома, школу, над которой ставили стропила, кивнул Петухову.

— А ведь строится Покровский Яр, Лукич! Когда первый порядок сдавать станем?

— Ну, когда,— подумал тот.—К концу лета и сдадим. Чтоб с огородами люди управились и — в новые дома. А поднажмем, так, может, чуток и раньше. Все одно на Октябрьские новоселье справим.

— Ну, что ж, будем ждать осени.— Бадаев открыл дверцу и осторожно поднял ногу с протезом, сел рядом с шофером.

Лукашин поместился сзади.

На хуторе

В верстах в двух от нового моста вверх по Кие на месте бывшей деревни маленький, в пять дворов, хуторок. Несколько дней Лукашин прожил здесь. Чтобы не было расспросов, откуда да зачем, он сказал, что приехал из районного села порыбачить на Кие. А его никто и не расспрашивал...

Вечера стояли теплые. Лукашин уходил в Покровский Яр. В поселке два временных общежития для строителей — мужское и женское. После смены кто хотел — уезжали в село, но многие оставались, чтобы утром отдохнуть лишний час.

Хорошо было сидеть с ребятами-плотниками на новом, из свежеструганых досок крыльце собранного днем дома, курить, разговаривая о чем-нибудь незначительном и в то же время очень важном в такие зыбкие сумеречные минуты. Дышать прохладой с чудесным, густым запахом щепы, молодой травы и слушать, как поют девушки, уходя за цветами к яру.

— ...Бежит река, в тумане тает,— поют девушки.

А ребята сидят тихо, осторожно держа папиросы в натруженных топорищами руках, разговаривают. Обмениваются фразами, ломопчат. Кому-то из них идти осенью в армию, другой отслужил уже, надумал жениться, надеется получить в поселке квартиру и теперь, исподволь, присматривает дом. А вот этого, что откинулся спиной к стене, пока служил, бросила жена. От позора он приехал сюда, опять стал парнем. Сидит, думает, повернув голову в сторону, куда ушли девчонки. У каждого свое.

Уходил Лукашин к кургану, подымался на заросший мягкой травой верх его, садился и подолгу сидел, слушая вечернюю тишину, глядя на Чулым-реку, на далеко темнеющие леса. Сидел до темноты, пока из оврагов и ложбин не выползал сизыми волнами туман, не закрывал прогретую за день землю. Чаще всего проводил вечера на хуторе, прислушиваясь, присматриваясь к жителям его.

Самый старый житель тут — Пелагея Семеновна, или бабка Палага, как называют ее на хуторе. У нее Лукашин квартировал.

Бабке Палаге скоро восемьдесят, она невысока ростом, высохла, сгорблена слегка. Ходит в темном: платок, кофта, юбка. Но лицо не испорчено старостью, лицо восковой чистоты, и в глазах разум сохранившего память человека. Все ее хозяйство: коза, шесть с петухом кур, кошка. За двором обнесенный сухим плетнем огород, сотки четыре.

Все избы хутора на берегу, огородами к воде, под окнами затравеневшая дорога, дальше бурьян, следы бывших построек.

— Приустала я жить, Валенька,— в первый же вечер пожалевалась бабка Палага, когда они пили чай,— все жду смерти, все жду, а она никак не идет.

Сидит возле окна, смотрит, руки с набухшими венами на коленях. Раньше окно выходило на улицу — играли на ней, бегали, ездили — жизнь текла. Теперь все заглушил бурьян. Раньше она была молода, здорова, растила детей, любила мужа и работала, работала.

— О-ох, как работали,— вспоминает бабка Палага,— хоть на поле, хоть в лесу. Бывало, начнем бревна из реки вытаскивать, а мне все комель попадал...

Но ушли и не вернулись с войны сыновья, умер покалеченный на лесоповале муж, и сколько лет уже живет она одна, сама не зная зачем.

Весной-летом хоть забота какая-то на дворе: выйдет, двигается. А зимой...

Летом бабка Палага ходит каждый вечер к соседям, посидеть. А соседи у нее старики Волковы. Хозяин там — дед Андрей, ему семьдесят пять лет. Он высок, суров, много курит и кашляет в желтые вислые усы. Все по хозяйству делает сам — косит для коровы сено, готовит дрова в березняке, обрабатывает огород. Старуха моложе его, но слабее телом. Дед Андрей жалеет ее и все заботы берет на себя.

По вечерам, управясь по двору, дед Андрей садится на бревна возле плетня, закуривает который раз на день, кашляет гулко.

Бабке Палаге некуда деваться — одна, а дед Андрей мог бы перебраться к сыну в район, но не хочет стеснять его. Изба у сына, как и все избы, в две комнаты, самих четверо — куда.

Приходит сосед Волковых — Аркаша, тридцатилетний мужик, работающий на строительстве моста. Он желтоволос, круглолиц, нрава веселого, оделит всех кедровыми орехами, старухам сыпнет по горстке, хоть у них и зубов нету. Аркаше скучно на хуторе, и он ждет не дождется, когда начнут сдавать в поселке дома.

За ним, переваливаясь по-утиному, подойдет бе-

ременная жена, осторожно сядет на бревно, положит на расставленные колени живот. Все знают друг друга давно, говорить особо не о чем, и разговор главным образом идет вокруг строящегося поселка.

Иногда приходит лесник Тимофей Еграшин, сорокалетний мужик, злой и горячий.

— Побрехать собрались? — говорит он, не здороваясь, и садится на самый верх бревен.

Его не любят на хуторе, он знает об этом и всячески показывает свое пренебрежение к землякам. Он зол на все вокруг, больше всего Еграшина раздражает строящийся поселок. И жену свою он заразил такой же горячностью и злобой.

— Змея,— говорит о ней старуха Волкова и плюется.— Тьфу, прости меня, господи, грешную.

— Настил гоним,— сплевывая ореховую шелуху, сообщает Аркаша. Ему охота рассказать, как они строят мост.— Завтра перила подымем, и — готов. Езжай в обе стороны — хоть на восток, хоть на запад.

— Х-хе!—резко выдыхает сверху Еграшин.— Схватились! Руководители, мать вашу... Довели до того, что район разбежался, а теперь — мосты, поселки.

— Зря ты их огулом,— заступается Аркаша.— И не все они такие, как ты о них думаешь. Земли начали осваивать? Начали. Что еще? И поселок тот же. Не нам ведь с тобой это в голову пришло.

— Умных не встречал! — перебирая ногами, Тимофей на заднице съезжает по бревнам, чтобы сесть рядом с Аркашей.— Не встречал, говорю. Вспомни, сколько председателей было в нашей деревне? А последний, Еремин? На каждой неделе то собрание, то совещание. Сядет за стол, и одно и то ж! Перегнать! Повысить! Укрепить! Укрепил — пять дворов осталось. И самого куда-то черти занесли, не сыщешь.

— В Антоновке, говорят, заместителем,— вспоминает Аркаша.

— Еремин какой хозяин! — кашляет, поправляет картуз дед Андрей.— Ему, вон, свиньям пойло разносить, и то расплескает. Опять же не на одном Еремине свет держится.

— Вы ж его сами выбирали,— напружинившись весь, вытягивает из-за Аркашиного плеча шею Еграшин.— Могли бы и получше сыскать.

— Правление выбирало,— поясняет глуховатым голосом дед Андрей,— а я в правлеиии никогда не состоял. Правление, да и сверху рекомендация.— И, подумав, закончил: — Оно, видишь, со стороны всегда хорошо наблюдать, а возьмись сам — не лучше и выйдет. Не всякий бык в производители гож.— И повернулся к Еграшину: — Тебя бы, Тимоха, во главе района поставить, глядишь — и манна с неба посыпалась бы.

Аркаша смеется, откинувшись ие по-мужичьи располневшим телом.

— Дураки! — коротко и твердо говорит Еграшин, вставая.— Можно думать, что манна та сыпалась над вами все время. Всю жизнь свою и тянули, как быки.

— Надо мной, к примеру, она не сыпалась,—серьезно сказал дед Аидрей.— Это ты верно заметил. Только и ненависти такой ко всему, как у тебя, иету. Ты что, плохо живешь? Кто ты такой? Лесник всего-навсего. А живешь — дай бог любому так. И всегда недоволен. Чем ты недоволен? Порядками, что вокруг нас? Так они, порядки — можио сказать, это жизнь твоя...

Не смог, чувствовал дед Андрей, толком объяснить леснику, о чем думал, о чем сказать хотел.

— Мие жизнь природа дала, дед,— зло усмехнулся Тимофей.— Оиа и отымет. Я человек, была бы хватка и ум, я везде проживу.

— Правильно, природа,— кивнул дед Андрей,— и мне природа дала. И всем. Я, когда родился, порядков этих и в помине не было. Однако поразмыслил, когда вырос, что к чему, и в девятнадцатом не к Колчаку ушел, а в партизаны, против него. И в эту войну хлебанул как следует. Однако обид не держу в мыслях. Жизнь, она не из одних праздников составлена. Всему основа — работа, на ней все держится. Конечно, каждому охота большая получше прожить, только ведь и не от одних нас это зависит. Это мы, старики. А взять тебя — лишений ты не видел, чтоб жаловаться, не ущемляли тебя ни в чем, не обижали, как случалось, некоторых. И все тебе плохо. А что бы ты хотел для души своей — никто не знает. Душа — она ненасытная порой: дай одно, другого захочется.

— Ничего ты, дед, не понял, как я погляжу,— встал севший было Еграшин.— В навозе ты родился, в навозе умрешь. Чтоб этой жизни, которую ты здесь прожил, да радоваться, тогда и на белый свет незачем появляться.

Сказал и ушел, покачивая плечами. Высокий, руки в карманах.

Дед Андрей не обиделся на хуторянина своего, он только посмотрел ему в спину да покивал молча головой.

Он свое отжил — дед Андрей. Отговорил, отволновался. Плохо ли, хорошо — жизнь прошла. Не теперь судить, раньше надо было. А раньше думал: еще успею всяко пожить, жизнь, она во-он какая. А она — совсем ничего. А все же таки семьдесят лет протопал. Многое видел, многое перенес в себе. Если б еще столько прожить на свете, можно б себя и по-другому поставить. А теперь одно — уноси с собой все, как было...

А темно уже. Электричества на хуторе нет — отключили их от линии. Уходит дед Андрей в избу. Расходятся и остальные. И только лесник сидит еще у себя в ограде. Один.

Впервые Лукашин увидел лесника на третий день, как поселился на хуторе. Под вечер возвращался домой — ходил смотреть мост. Уже был у избы бабки Палаги, когда его окликнул мужик, выводивший из-под берега лошадь. Поил, видно.

— Постой! — окликиул мужик. Подошел, неспокойно улыбаясь, цепко поймал руку Лукашина, тряхнул.— Давай позиакомимся. Тимофей Еграшии, лесник.

Лукашин назвал себя.

— Так это ты рыбачить приехал? — спросил лесиик, улыбаясь все, а сам глядел куда-то мимо странными глазами своими.

«Воровские глаза»,— подумал вдруг Лукашин.

— А чем рыбачить думаешь, удочкой?

— Удочкой,— кивнул Лукашин.

— Конечио, чем же тебе еще? — согласился лесник.— Тогда я место покажу на Кии, окуня там по локоть. Заходи вечером, поговорим.

Светло еще было, Лукашии пошел к леснику.

У Еграшина крестовый, под шифером, иедавно срубленный дом. Когда деревня стала разъезжаться, ои только обрадовался этому и начал строиться на удивление всем. У иего новой марки мотоцикл с коляской, фабричиая с мотором лодка, служебный конь. Двенадцатого калибра двустволка иа стене, в кладовке малопулька, в районной сберкассе порядочные деньги на книжке, да мало ли чего нет у него, Тимофея Еграшина, хозяйственного мужика.

Дымчатый вислоухий пес, увидев Лукашииа, прыгнул с лаем, рванул цепь и, вскинувшись иа задних лапах, захрипел придушенно, роияя слюну.

— Беркут! — закричал из сеней хозяии, вышел, укоротил цепь, пропуская гостя.

Лукашин лрошел в дом. Всюду было чисто, и ло убранству комнат дом походил скорее на квартиру какого-нибудь районного интеллигента, чем на жилье лесника с заброшенного хутора.

«Ребятишки малые еще,— удивился Лукашин.— Поздно поженились, видно».

Хозяйка, туголицая рыжеволосая молодка, молча собрала на стол и ушла. Еграшин пригласил гостя.

Кроме водки, на столе стояла икра, крулнонарезанная, истекающая жиром свежеколченая рыба.

— Муксун,— объяснил хозяин,— лорода осетровых.

Еще вареная рыба, окунь — его узнал Лукашин. Свежая вылотрошенная стерлядь лежала на отдельной тарелке.

— Чушью стерлядь любишь? — спросил хозяин и, не дожидаясь ответа, стал резать. Порезал, лрисолил, перцем присыпал слегка, пододвинул Лукашину.— Пробуй, чушь называется.

Налил водку.

— За знакомство или как?—Чокнулся, вылил, лрямо руками взял кусок стерляди, ткнул в соль, ткнул в перец и стал жевать, хрустя.

Лукашин тоже вылил, надо было закусить, но сукровица, выступившая на срезе стерляди, отталкивала его, он взял маленький кусочек и, стараясь не думать, что рыба сырая, прожевал наскоро и лроглотил.

— Ну как? — кивнул хозяин.— На реке живем, да чтоб без рыбы... Вы там в городах хек локулаете, а его мой кобель жрать не станет. Я без свежей стерляди за стол не сажусь. Ты не таись.— Он лридвинулся к Лукашину, касаясь его коленями.— Какой ты рыбак? Я слрашивал у мужиков. А можешь ты, к лримеру, налисать, как простому человеку лриродой лользоваться не дают? Реки мазутом загадили, рыба дохнет, а поставь сети, рыбнадзор вот он — нельзя. Кругом кричат: все наше, народное, народ — хозяин. А лоставь сети на зту же стерлядь — нельзя. Государственное, лонял? Тогда зачем душу мне травить, что я хозяин? Я народ. Если хозяин — бери, пользуйся — так я лонимаю. Сможешь или сбоишься?

— О загрязнении можно налисать,— сказал Лукашин.— Да и пишут об зтом достаточно. А рыбнадзор, что ж... зто их работа. Тут я...

— Значит, сбоишься.— Еграшин вылил, мгновенно вслотел, расстегнул рубаху, чистое лицо его с небольшими черными усами лодергивалось. Улыбнулся неспокойной своей улыбкой. А глядел не лрямо, в сторону.— Значит, нельзя мне, хозяину земли своей, и рыбы половить?

Еграшин давно уже никого не приглашал к себе, давно ни с кем не заводил разговоров, все вокруг были чужие, не лонимавшие его, а зтот лриезжий человек и пугал и притягивал его. Хотелось — за столько-то лет — хоть раз высказать все, что наболело, и он, лодумав, лозвал Лукашина к себе.

Лукашин молчал. Неудобно было объяснять взрослому человеку то, что давно известно каждому. Он уж и не рад был, что пришел.

— Нельзя,— кивал хозяин.— А грязнить воду можно. Ты на Оби был? И я был. Опустишь руку за борт, вынешь — нефть на ней. Химия. Ну, сколько я сетьми поймаю? Да я ведь молодь не беру, крупную только. А там — вся подряд задыхается. И ни с кого спросу нет. А почему? Потому, что и рыба государственная и заводы государственные. Пусть лучше лодохнет от нечистот, но сети ставить не моги. И вся передохнет — крику не будет. Нет.

Лукашин чувствовал, как дрожат колени хозяина. Он и не знал, что отвечать.

Лесник вылил олять. Он не льянел, вздрагивал только заметно — мерз будто.

— Рыбнадзор! — вскрикивал он.— Это мышь возле хлеба. Они сети мои сколько раз забирали с рыбой вместе. Сети лорвут кошками, а рыбу куда? Себе, конечно. Ты слышал, что вчера дед Андрей говорил? Порядки защищал. Да он света белого не видел, в колхозе работая. А лослушать его—пропагандист. Мои деды-прадеды были вольные рыбаки-охотники. И я так хочу. Я только раз на земле живу, а меня, как лса, на цепи держат. Тут раньше свободные земли были, по берегам охотники жили, рыбаки. Села торговые на Чулым-реке стояли. А потом лонаехали, лонатыкали деревень. Телерь вон лоселок начали.

— Да ты что, Тимофей? — изумился Лукашин.— Что ты говоришь? Ты что, против строительства поселков? Это же радость для людей — земли заново обживаются.

И заметил, как обмяк хозяин, лотянулся было к бутылке — отдернул руку. Сказал тише уже, осипшим голосом:

— Почему — лротив? Пусть строят — мне что. Я к тому говорю — людей сдерживать надо было интересом, не давать разъезжаться, теперь бы и стройки ни к чему. Ну, ладно. Давай выпьем, да лойду ло хозяйству.

Допили. Еграшин разговоров больше не затевал, молча жевал стерлядь, думал, глядя в сторону.

Провожая гостя, лолросил:

— Ты заходи, не стесняйся. Завтра места локажу. А уезжать станешь, рыбы дам: стерляди, муксуна.— Помолчал, не отпуская руки Лукашина.— Мы тут логоворили с тобой, ты, зто, не шибко на стороне. Знаешь, люди разные бывают. Хотя — дело твое.

И лротянул еще раз руку гостю, усмехаясь жутковатой своей усмешкой.

...Тимофей Еграшин по материнской линии вел свою родословную от тех старожилов Покровских, чей дом стоял когда-то на берегу Чулым-реки, возле Яра. С двенадцати лет он бил влет лтицу, помогал старшим ставить сети и у ночных костров ло берегам слушал рассказы бородатого деда Саввы, как жили здесь раньше рыбаки-охотники, какая рыба заходила с Оби, сколько было в тайге зверя и птицы. Повзрослев, Тимофей уже не представлял себе жизни без ружья и лодки и стал подыскивать такую службу, чтобы не расставаться с лесом.

И лошел в лесничество.

Всю жизнь свою он удивлялся тому, как зто можно сидеть день-деньской в конторе за столом, лежать лод трактором, ремонтировать его или пахать в лыли, грохоте, мазуте.

А он в лесу, он на воде. Тихо, чисто кругом. У него безотказное ружье и верный пес, у него сильный лодочный мотор, у него конь. Когда стала разъезжаться деревня, он только обрадовался и начал рубить избу. Теперь он оставался один, зто было то, что нужно. Правда, рыбы и дичи втрое уменьшилось: у каждого ружье, сети, моторная лодка,— но жить еще можно было. Только б — вот кого люто ненавидел Еграшин — не загрязняли воду. На большом участке Чулым-реки, между двух сел, он знал, где нужно поставить сети, фитили, самоловы. В доме у него всегда был запас вяленой, копченой, свежей рыбы, да не речного костлявого карася, а осетровой породы. В лесу он вел учет куролачьим, тетеревиным, глухариным выводкам, отстреливая чаще всего самцов, не давая исчезнуть лтицам, но и не лозволяя шибко расллодиться. Так продолжалось несколько лет, он уже привык к своей жизни и рассчитывал до старости прожить так, когда вдруг лрошел слух, что рядом будут строить но-



вый поселок, а потом обживать Кию и Четь. Он долго не верил этому, пока однажды из лесу не увидел, как по старой дороге идут к Яру первые машины со стройматериалами. Он тут же представил себе, как выстроят поселок, еще один, не будет вокруг тишины и спокойствия на речках, и ему, Тимофею Еграшину, нечего тут станет делать. Остаток дня он ходил сам не свой. Надо было что-то делать, решать. Помешать как-то им. Завтра будет поздно, завтра придут новые машины, люди.

Вечером Еграшин сел в лодку, на веслах отплыл по Кие чуть не до старого моста, не вылезая из лодки, протер несколько раз бензином подошвы сапог и, взяв канистру, кружным путем прошел к яру. Никого не было на поросшем бурьяном берегу.

Кирпич лежал, да белели в темноте сложенные в штабель доски. Он сел прямо в бурьян, чтобы успокоиться, вскочил, стал набирать на руку, как поленья, кирпичи, носить и сбрасывать в Чулым-реку. Но кирпича было много, и он понял бессмысленность работы. Подошел тогда к доскам, открыл канистру, плеснул в ладони, еще раз смочил подошвы. Остальное выплеснул на доски, поджег и, схватив канистру, пригибаясь, побежал к березняку. И долго петлял по болоту, пока вышел к лодке.

Было много разговоров о случившемся, приезжал милиционер с собакой, ничего, никого не нашли, ясно было одно: доски кто-то поджег намеренно. Стоимость возместили, поставили сторожа, и поселок начал строиться.

Еграшин затаился. Обдумывая свое положение, он уже не решался на подобные выходки, чувствуя, что, кроме беды, ему это ничего не даст. На Чулым-реку не выезжал, собрав все сети, рыбачил в устье Чети. Решил: будь, что будет. Решил пока оставаться на своем месте, а когда совсем тесно станет здесь, податься вверх по Мачеге в более глухие места.

Легенды и реальность

Впервые Лукашин увидел ее в кафе. Была суббота, теплый сухой вечер, после бани Голицын пригласил его поужинать — по вечерам в кафе к пиву подавали горячие сосиски с тушеной капустой.

Застекленная веранда, пристроенная к глухой стене районной чайной, зимой служила складом для продуктов, пустой тары, с наступлением же тепла превращалась в кафе «Ромашка». Застекленная сторона выходила на Чулым-реку, с шести до одиннадцати здесь можно было сидеть, разговаривая, глядя на воду, на редкие рейсовые катера с огоньками на мачтах. В углу стояла радиола, и официантка следила за пластинками, меняя их, а иногда это делал и кто-нибудь из танцующих. Разрешалось курить.

Лукашин с Голицыным сидели за угловым столиком, прихлебывая пиво. Шел девятый час, входили парами и поодиночке, пришел Перевалов с невестой. Голицын встал им навстречу и пошел танцевать с Анной — она хорошо танцевала.

Перевалов принес два стула к их столику и заказал еще пива. Пиво было холодное, горьковатое чуть, Лукашин отпивал редкими глотками, согреваясь, смотрел на танцующих.

«...Ромашки спрятались, поникли лютики»,— крутилась пластинка.

Лукашин смотрел на танцующих. Перевалов разговаривал с шоферами за соседним столиком. Потом сидели вчетвером, касаясь локтями — было уже тесно,— пили пиво, и Голицын все приставал к Анне, спрашивая, на каком пальце она станет носить обручальное кольцо.

Когда женщина появилась в кафе, Лукашин не заметил. Мелодия закончилась, все пошли к столикам, и в просветах между парами он увидел, как стоит она возле входа, руки за спиной, прислонясь к косяку и резко дышит — бежала, что ли. Она была в брюках, как и многие женщины, пришедшие сюда, в тонком светлом свитере, блестящие черные волосы ее, разделенные пробором, спускались по щекам плоского лица почти до пояса.

Она стояла одиноко и независимо, время от времени раздувая ноздри, движением головы отбрасывая волосы, и, когда узкоглазое лицо ее отклонялось назад, казалось, что в минуты эти из напряженного горла вот-вот послышится клекот.

— Кто это? — спросил Лукашин, и парнишка-шофер, нагибаясь прикурить, сказал: — Дарья Ладыгейчева из нормировочного, два раза замужем была.

Снова начали танцевать, а когда разошлись, женщины уже не было. Лукашин заговорил с Голицыным и совсем забыл о ней.

Живя на хуторе, Лукашин ушел как-то к кургану, обойдя вокруг, походил возле него и стоял в задумчивости спиной к Кии. Вдруг сзади гортанный оклик:

— Э-згей, что потерял здесь?!

Лукашин обернулся — у берега дощатая лодка, в ней та самая женщина стоит, опираясь на весло. В лодке ружье, две кряковых утки.

— А я тебя знаю,— сказала женщина, выпрыгнула из лодки и потянула ее на траву.— Ты с Голицыным всегда ходишь, правда?

— И я тебя знаю,— сказал, подходя к лодке, Лукашин.— Ты богиня охоты Диана, но сейчас отстрел водоплавающей птицы воспрещен.

— Это селезни,— махнула рукой женщина,— их можно. А матерей-уток я не трогаю.

Была она в высоких, самодельной работы сапогах, узких стираных брюках, вельветовой курточке. А волосы так и свисали по щекам.

Лукашин взял ружье. Это была старая, хорошо сохранившаяся двустволка двадцать четвертого калибра. Таких теперь и не выпускали.

— Это отцово ружье,— сказала женщина.— Мой отец был великим охотником. Уходя на охоту, отец всегда брал трубку.— Женщина вынула из кармана куртки древнюю, обгоревшую по краям трубку.— И она приносила ему удачу. Это очень старая трубка. Ее сделала из корня березы прабабка моего отца. Она била медведя в верховьях Мачеги, дожила до ста лет и, умирая, завещала эту трубку моему отцу, зная, что он будет великим охотником. Я всегда беру эту трубку на охоту.

— Ты умеешь стрелять? — спросил взволнованный встречей Лукашин.— Сейчас женщины редко берут ружье. Разве только на севере, где живут большей частью охотой.

— Я бью влет самую быструю утку-чирка. —Женщина отбросила, как тогда, волосы за плечи.— Подкинь что-нибудь и увидишь, как стреляю.

Лукашин вынул носовой платок, сорвал травы, скрутил жгутом, завязал в платок и отошел шагов на двадцать.

— Дальше! — приказала женщина, глядя через плечо. Она стояла спиной к Лукашину, опустив ружье стволами вниз.

Лукашин отошел еще пятнадцать шагов и, крикнув: «Кидаю!» — подбросил, на сколько смог, завязанную траву.

Женщина резко обернулась и, когда узелок, взле-

тев перед падением, на мгновение остановился в воздухе, выстрелила. Узел дробью отбросило в сторону.

— Правый ствол,— сказала женщина, опуская ружье.— Из левого отец бил только пулей. Хочешь выстрелить?

— Нет,— отказался Лукашин. Он любил охоту и, живя в деревне у стариков, постоянно держал ружье, но сейчас стрелять ему не хотелось.

Женщина отнесла ружье в лодку, вернулась, села к подножию кургана лицом к Кии. Узкоглазое лицо ее было спокойно, без прошлой надменности.

— Садись,— пригласила она,— ты часто бываешь здесь?

— Часто,— сознался Лукашин. Он почти каждый вечер приходил с хутора.

— Я, когда плыву по реке, всегда смотрю на курган и вспоминаю сказ, который давно услышала от бабки. Хочешь, я расскажу тебе его?

— Хочу,— согласился Лукашин, расстелил пиджак и лег, положив голову на руки.

Женщина начала размеренно, покачиваясь в такт словам. Лукашин закрыл глаза и перенесся на несколько веков назад. Послышались гортанные выкрики и частые посвисты стрел. Ветер уносил за Чулым-реку шум битвы.

— Этот курган,— размеренно начала женщина, и звуки печально заклокотали в горле ее,— память о несчастной любви девушки Кии к воину Чулыму. Этому кургану сотни лет — так гласит древняя легенда. Когда хакасы, пришедшие с далекой Чуны, стали теснить остяков, бедный воин Чулым собрал войско и дал хакасам бой у слияния этих рек. Но остяки проиграли сражение. Они умели охотиться и ловить рыбу, но не умели воевать. В этом бою был убит бесстрашный воин Чулым. Узнав об этом, Кия долго горевала. Она не захотела уходить со своим племенем. Придя на могилу любимого, она ударила себя в грудь его кинжалом и умерла. Племя похоронило Кию рядом с Чулымом, а над их могилами насыпали холм. Реки эти назвали именами погибших. Так они и бегут вместе—Кия и Чулым. Э-згей!— воскликнула женщина, глядя на часы.— Пора домой, мама станет беспокоиться.

— Твоя мама тоже охотница? — спросил Лукашин, провожая ее к лодке.

— Нет, моя мама русская,— ответила женщина, оттолкнулась веслом.

Лукашин тихо шел берегом, срывая цветы и бросая в лодку.

— Моя мама старая уже, она любит выращивать в огороде ягоды и всегда боится, когда я ухожу с ружьем в тайгу. Приходи завтра к кургану. Вечером. Я знаю — ты сейчас живешь на хуторе. Это близко.

Села и, сильно огребаясь слева, выгнала лодку на середину реки.

И Лукашин стал каждый вечер приходить к кургану...

«Это странная женщина, Дарья Ладыгейчева,— записывал он в свой дневник.— Ей двадцать семь лет, мать у нее русская, отец — остяк. Конечно же, больше она взяла у отца. Она закончила техникум и работает в конторе колонны в отделе нормирования, но я ее совсем не представляю за конторским столом, да и, признаться, ни разу не видел. Все свободное время она с ружьем, на лодке. Знает повадки птиц и зверей, названия растений по берегам речек. Мы уплывали с нею по Чети почти до самого верховья.

— Вот на этом месте я родилась,— печально сказала она, когда мы подплыли к берегу и вышли на поляну.

Она попросила меня уйти в лес, сказав, что хочет побыть одна. Я отошел за деревья и следил издали, как села она на траву лицом к солнцу, ноги подвернуты под себя, руки сложены на груди, волосы распущены. Она сидела так несколько минут, шевеля губами, лицо ее было серьезно, и походила она в это время на маленького восточного божка, каким его изображают статуэтки. Потом окликнула меня, и мы стали собирать цветы, но печаль ее не проходила, пока не отплыли мы далеко от поляны. Мне очень хотелось узнать, что шептала она, сидя на поляне, но Дарья созналась сама, что помолилась старому остяцкому богу за весь их древний род и за отца, пожелав ему там хорошей охоты.

Дарья рассказала еще, что жили они на Чети долго, она училась в школе-интернате, потом поступила в техникум, на каникулы приезжала домой, и тогда отец учил ее разговаривать с деревьями и травами, понимать зверей и птицу, учил на бегу стрелять из ружья, пережидать в тайге пургу и многому другому, чтобы она передала все это своему сыну, потому что она, Дарья, продолжательница великого рода Ладыгейча, охотника, от которого пошел их род. Когда умер отец, Дарья настаивала похоронить его на Чети на месте их последнего жилья, но похоронили отца на кладбище районного села, чтобы мать могла навещать могилу.

Дарья дважды была замужем и оба раза неудачно. Вчера она созналась, что замуж больше не выйдет, но хочет стать матерью, родить сына. Обязательно сына и передать ему все, чему учил ее отец. А если у нее так и не будет сына и она умрет, тогда закончится весь их род. А этого никак нельзя допускать. Она призналась мне в своем желании — чтобы я был отцом ее ребенка. Я был сконфужен и смущен одновременно. Я рассказал ей о своих отношениях с женой, о сыне, сказал, что если она, Дарья, действительно родит ребенка, то я буду отцом двух детей от разных матерей, а это и без того усложнит мою жизнь. Видимо, выглядел я совсем глупо и жалко со своими рассуждениями, потому что она грустно рассмеялась, попросила забыть обо всем, сказав, что просто пошутила. Мы лежали в тот вечер на кургане, смотрели в небо, и Дарья рассказала о своих мужьях...

— Он приехал в район после учебы и стал работать в нашей конторе, в плановом отделе. А жил через улицу в доме напротив. Он был высокий, тонкий и носил очки. Утром, когда я выходила из дома, он уже дожидался меня и, кланяясь через дорогу, говорил всегда: «Здравствуйте, Дарья Ивановна». На работу мы шли вместе и возвращались вместе. Так мы и ходили до тех пор, пока в конторе и на улице не начались разговоры, что мы скоро поженимся. Но я не хотела выходить за него. Я хотела, чтобы отцом моего сына был большой и сильный человек. Но мать настояла. Она сказала, что лучшего мужа мне не найти — смирный и образованный. Мне не хотелось обижать мать, и мы поженились. Мы прожили два года, а мне казалось, что это тянется всю жизнь. Он был тихим человеком. Всегда во всем соглашался со мной. По выходным дням, когда я уходила в лес, он садился листать конторские книги и брякал на счетах, потому что ему мало было недели. Иногда к нему приходил сослуживец, такой же, как и он, тогда они вместе брякали на счетах, повторяя: «Дебет... кредит»,— и глаза их светились радостью. Один раз я уговорила его пойти со мной, но он так боязливо ступил в лодку, а когда лодка чуть качнулась, уронил в воду очки. Он расстроился, и мне пришлось доставать их. Мы вернулись домой, и тогда я сказала: «Миша, ты хороший человек, но жить я с тобой не буду». Он ушел в тот же день, а вскоре уехал совсем. Год я прожила одна, и это

было еще хуже, потому что я была уже женщиной. За мной стал ухаживать шофер нашей автобазы. Он был большой и сильный, как мне хотелось, но он оказался злым и лживым человеком. Он часто приходил пьяным, подрабатывая после смены, хотя в этом не было нужды. А потом он стал изменять мне. Я все это терпела, стыдясь перед матерью и страшась людских разговоров. Я только сказала ему: «Чего тебе не хватает? У меня красивые ноги и грудь, я сильная, я могу рожать каждый год, пока молода». Один раз он стал куражиться, и ему захотелось ударить меня. О-ого! Я сорвала со стены ружье. Он знал, как я стреляю. Я могла разнести ему череп, не целясь. Он испугался и выскочил на улицу. Я выбросила на снег все, что он принес с собой. До темноты выброшенное лежало на снегу — ему было стыдно переносить от меня вещи днем, на глазах у людей. Вечером пришли его родственники и забрали все... А ты, Валя, не смелый,— в конце сказала она мне.— Хороший, а не смелый. Женщина сама идет к тебе. Это очень редко, когда женщина сама.— Засмеялась и сбежала с кургана».

Плач о погибших березах

— Я плачу о березах.— Голицын откинулся к стене и притушил ресницами разбавленную хмелем синеву глаз.

В кафе было жарко, накурено. Беспрерывно танцевали. Перевалов танцевал с Анной. Сегодня здесь играл оркестр районного Дома культуры.

— Я плачу о березах...— Голицын потянулся и налил полстакана портвейна — в кафе подавали только портвейн.— А ты завтра уезжаешь. Прощай, Валя.

— Я напишу тебе,— улыбнулся Лукашин и потянулся к руке Голицына...

—...Прощай, Валя,— сказала вчера женщина возле кургана.

— Я напишу тебе.— Лукашин целовал ее руки.

Луна стояла над курганом, и на желтоватой дорожке, брошенной через Кию, покачивалась лодка. И белое лицо ее казалось еще белее.

— Письма долго идут,— засмеялась женщина и положила ему голову на грудь.

— ...Ромашки-и спрятались,— шептала в микрофон девица.— Поникли лю-ти-ки...

Это был гимн кафе. Кафе называлось «Ромашка».

— Я плачу о березах,— сказал Голицын и налил себе портвейна.

Перевалов танцевал с невестой. Лукашин пододвинул свой стул и обнял Голицына за плечи. В кафе стоял шум, и песня была едва слышна. Вчера Голицын получил от сестры письмо. Елена писала, что Рашевская развелась с мужем, вернулась в город и спрашивала о нем.

Сегодня Голицын поссорился с Бадаевым. Завтра уезжал Лукашин... Они не то чтобы поссорились с начальником. Просто Голицын говорил с необычной для него резкостью, и из разговора следовало, будто бы в том, что они делают сейчас, есть вина Бадаева. Бадаев, глядя в землю, молча выслушал и, сказав коротко: «Продолжайте работу»,— пошел к машине...

Голицын встал и пошел танцевать с Анной. Перевалов смотрел на них, улыбаясь.

Анна помахала им рукой.

— Который час? — спросил Лукашин, поглядывая на дверь.

— Чего ты? — удивился Перевалов.— Девяти еще нет...

— ...Уже поздно, Дарья,— сказал Лукашин, обнял женщину, и они пошли к лодке.

— Куда ты? — спросил он, когда Дарья развернула лодку вверх по течению.

— Молчи! — шепотом приказала женщина, сильно огребая веслом. Глаза ее странно светились.

Лукашин молчал...

...Музыка умолкла, и Голицын подвел даму к столу. Глаза Анны смеялись.

— Замучили они меня,— сказала она Лукашину, обмахиваясь рукой.— Хорошо, что вы не танцуете, а то бы втроем меня до стола не допускали. Коля, выйдем освежимся, а?

— Когда школьником, потом студентом мне приходилось выезжать за город,— говорил Голицын,— я радовался каждой травинке, каждой зеленой веточке. А теперь я своей властью могу вырывать и сбрасывать в овраги сотни берез. Но власти моей не хватает, чтобы приостановить это... Такая береза росла много-много лет, а корчеватель за какие-то минуты выворачивал ее из земли и сбрасывал в овраг...

— ...А куда их,— заметил представитель института «Гипроводхоз», сворачивая схему. Института, работники которого вели здесь изыскания и готовили всю документацию по освоению пойменных земель.— И хорошо, что овраги. На дрова березы не пойдут — суковатые, делать в конце полос завалы — вам же впредь лишняя работа. Остается одно — овраги...

— Японцев бы сюда,— сказал резко Голицын.— Они бы эти сучки-веточки в нейлон превратили. А нам и на дрова не годятся. Сотни гектаров одних только берез. Богаты слишком.

— Продолжайте работать,— сказал молчавший все время Бадаев и пошел к машине. В машине он продолжал мысленно разговаривать с Голицыным. Ему самому было жаль берез, но и земля была нужна. И о том, что будут вести раскорчевку, они знали заранее, не знали только — в каких местах. До того, как все началось, здесь работали изыскатели-проектировщики, были произведены необходимые съемки, составлены схемы, карты, другая нужная документация. Все это давно прошло определенные ступени, было подписано, утверждено, повторялось неоднократно в докладах на различных собраниях и совещаниях, были спущены деньги, машина работала, и Бадаев не в силах изменить что-либо. Он понимал, что, раскорчевывая сотни гектаров, которые постепенно перерастают в тысячи, они в какой-то мере нарушают природный режим, думал о поколениях, которым придется жить не где-либо, а вот на этих местах. И кто знает, не придется ли им на месте нынешних корчевок заново высаживать деревья. Он, Бадаев, сейчас мог только отдать распоряжение, чтобы всюду возле домов колонны высаживали кусты.

Зная это, глядя, как сбрасывают в овраг березы, Голицын сказал:

— Столетние корни рвем, а прутики высаживаем. Ну, хорошо, коль скоро есть такая необходимость вести раскорчевку — пусть. Но деревья-то можно где-либо использовать?

Бадаев думал об этом. Те березы, что помоложе и поровнее, рабочие колонны и жители ближайших деревень пилили на дрова. Но эти старые суковатые березы на дрова не годились. Из них и топорище нельзя было сделать. И тогда Голицын сказал о

нейлоне, о безалаберности, бесхозяйственности и многом другом. Говорил непривычно зло, и Бадаев видел, что он расстроен. Конечно, существовала химия, и что-то полезное можно было бы все-таки сделать из этих берез, тех, которые давно сброшены в овраг, и тех, которые будут сброшены. Но когда Бадаев представил себе договоры с различными организациями, погрузку, транспортировку, выгрузку и все остальное, что с этим будет связано, он только вздохнул и махнул рукой...

— ...Сидите здесь в дыму,— сказала Анна, опускаясь рядом с Лукашиным.— А на улице что деется... Теплынь, луна, светло — хоть иголки собирай. Правда, Коля?

— Полнолуние,— Перевалов расставлял стаканы.— Свет луны во все концы,— сказал он и рассмеялся. Читать стихи Николай научился у Голицына.— За твой отъезд, Валя.— Он поднял стакан.— Чтоб не забывал нас.

— Давайте.— Лукашин чокнулся со всеми и поглядел в окно...

...Луна показалась, и Лукашин узнал место. Дарья прыгнула из лодки и пошла по траве, нагибаясь, срывая цветы. Тепло было, и, видно, потому так пахли травы. Лукашин сидел в лодке. «Оттолкнуться, уплыть»,— подумал он.

— Ва-ля! — дошло до него. Женщина стояла среди поляны, но голос ее был едва слышен.— Иди-и!

— Нет,— сказал Лукашин.— Нет! — И пошел туда, путаясь в траве слабеющими ногами. «Зачем, ведь мне скоро уезжать»,— неясно подумал он...

— ...Я тоже скоро уеду,— продолжал Голицын.— Начало здесь положено, я сделал все, что требовалось от меня, может, даже чуточку больше. Я хочу взять многодневный отпуск без содержания. Много свободных дней. Чтобы посидеть с товарищами в кафе «Валдай» на Калининском, послушать их, попить сухого вина. Я хочу на вечера поэзии. Вышел сборник Вознесенского, а я так и не видел его... А потом уговорить ее уехать в Карелию. Ты не был в Карелии, Валя? Там чудесно. Если я не могу поехать в Памплону, чтобы посмотреть бой быков, я поеду в Карелию. А ты не лукавь и не сюсюкай. Помнишь: «И горько жалуюсь и горько слезы лью, но строк печальных не смываю...»

— ...Посмотри, какая я красивая.— Дарья скинула на траву платье.— Ты никогда не видел таких красивых женщин.

Она повернулась к Лукашину, отбрасывая за спину волосы. Лунный свет струился вокруг ее ног.

— Все женщины рода Ладыгейча были красавицами.— Дарья говорила явственным шепотом.— Но я краше их. Я последняя женщина рода.

Она встала на колени, потом опустилась на траву.

— Иди-и,— протянула она руки.— На этом месте я родилась. На этом месте я хочу зачать сына.

— Боже мой, что это с луной сегодня? — Лукашин задыхался от запаха трав. И тоже встал на колени...

Голицын встал и покачнулся. Лукашин вывел его на воздух. Было удивительно светло и тихо.

— Иди,— сказал Голицын.— Дай мне побыть одному.

Он прислонился к стене, откинул голову и стал глубоко дышать. Лукашин вернулся к столу. Перевалов с Анной сидели рядом, глядя друг на друга.

— Давайте выпьем.— Лукашин разлил портвейн.— Как ваша подруга Нюша? — спросил он Анну.

— О-о! — засмеялась Анна.— Они теперь ходят каждый вечер в кино, а вчера Коля подарил ей «Тройной одеколон».

Оркестр опять заиграл, пары вставали, с шумом отодвигая стулья. Становилось тесно. Перевалов вышел к Голицыну. «Боже мой, как долго тянется вечер»,— подумал Лукашин, оглядываясь. Ему показалось, что возле дверей кто-то стоит, прислонясь к косяку. Посмотрел еще раз — незнакомая девушка.

— Дарья не придет,— сказала Анна.— Она просила передать тебе вот это,— вынула из сумки и подала скрытую в узком чехле из потертой оленьей шкуры старую трубку.— Она сказала, что трубка принесет тебе много удач в жизни.

Вошел Голицын, он был бледен.

— Идемте,— поднялся Лукашин, опуская трубку в карман.— Поздно уже.

Пошли, проталкиваясь между танцующими.

Стали прощаться.

Лукашин обнял Голицына, Анну, еще раз Голицына. С Переваловым простились коротко, тот обещал заехать утром, чтобы до работы отвезти Лукашина к железнодорожной станции.

С Бадаевым Лукашин простился днем, обещая приехать в сентябре...

...В сентябре на Чулым-реке желтели, опадали леса.

Колонной по-прежнему руководил Бадаев. В одну из трудных ночей он составил завещание, в котором просил в случае его смерти библиотеку передать новому поселку, избу и утварь — сестре, а с ним положить портрет Петра.

Работали все три участка. На третьем сдали первый порядок домов. Перевалов с Анной получили квартиру, и в ноябре у них намечалась свадьба.

И еще одна свадьба должна была состояться по осени. Голицын получил письмо, а через несколько дней приехала и сама Рашевская. Голицын подал на расчет, и вскоре они уехали.

Дарья заметно изменилась, притихла, по вечерам она часто приходила к кургану, сидела у подножия, глядя, как по Кии плывут листья.

Один раз она плавала в лодке по Чети.

Вечерами, укладываясь в постель, старалась лечь поудобнее. И перед тем как уснуть, подолгу прислушивалась к чему-то внутри себя.

А Лукашин жил в городе. От жены ничего не было, и он ей не писал, посылал лишь деньги. С началом дождей он сел за работу, иногда ему работалось хорошо, иной раз целыми днями он не мог ничего делать. В предчувствии тоски Лукашин стал вспоминать женщин, которым нравился когда-то и которые хотели быть с ним. Но все они давно уже стали матерями, и писать им было бесполезно. Оставалась еще Татьяна Сергеевна, с которой он дружил все годы учебы и которая жила теперь где-то на берегах Каспия. Он написал ей, и она ответила.

Она писала, что все хорошо, она здорова, рада была получить от него весть, дела ее идут — она поступила заочно в театральный, а в ноябре собирается замуж за журналиста.

И в зиму Лукашин остался один.

Осень — зима 1975 г.
г. Томск.

Борис Слуцкий





«В борьбе за это...»

Весело
надо делать
грустное дело
свое.
Под музыку надо делать
свое печальное дело.
Ведь с музыкою — житуха.
Без музыки — не житье.
Без музыки — нету хода,
а с музыкой — нету предела.

Какой капельмейстер усатый
когда ее сочинил!
Во время которой осады
перо он свое очинил
и вывел на нотной бумаге
великие закорючки!
А в них — атаки и флаги,
и проволоки-колючки!

Ее со слуха учили
чапаевские трубачи,
и не было палаты
и не было лазарета,
где ветеран новобранцу
не говорил: «Молчи!
Мне кажется, заиграли,—
слушай,— «В борьбе за это..»

Определение лирики

Лирика — отсебятина.
Хочется основательно
все рассказать о себе
и о своей судьбе.

Лирика — колесница:
так шумна и пестра.
Кроме того, она лестница
в душу твою со двора.

Лирика — суматоха.
Лирика — дребедень.
Кроме того, она вдоха
воздуха
верная тень!

С берега до берега
ночью пробег по мостам!
Лирика
эмпирика
учит общим местам.

Учит и словам забытым
вдруг проявлять интерес.
Лирика вся — за бытом,
словно за городом — лес.

Вдруг раскрываются двери
из теплыни в ледынь.
Лирика вся: не верю,
что не чета молодым.

Огонь в воде

Огонь всегда хорош. Даже слабый.
Вода — лишь тогда, когда много ее.
Но вот океан со всей своей славой
ревет про свое житье-бытье.
Какие метафоры у океана!
Он — словно Шекспир!
Он — потачки словам не дает.
Но вдруг замолкает до самого окоема,
тихонько поет.
И в эту огромную,
эту бескрайнюю воду
роняют огни и порты и заводы,
прожекторы пограничников,
маяки
и попросту светляки.
А малый огонь,
отразившись в немалой воде,
вступает в нее, а потом утопает
и место свое навсегда уступает
нетонущей и негасимой
звезде.

Отказ

Тяжелее нет бремени,
чем перо голубиное.
Голубь требует времени
так же, как все любимое.
Он делиться с женой
или с книгой не пробует.
Кроме жизни одной,
ничего не потребует.
И пока он медлительно
пролетает,
как
то ни удивительно,
жизнь пролетает.
Из семи голубятников
в нашем дворе
двое бросили,
пятеро практиковали.
Каждый день подымались они
на заре,
и огромные голуби им ворковали.
В те широты не залетали орлы.
Самолеты тогда еще были малы,
и дебелее голубя
не было в небе.
В этом счастье, как в проруби,
выхода нету.
Нету спасу от радости,
вам говорю!
Украдешь благодаря сизарю,
и обманешь,
и дружбу нарушишь,
но зато встанешь рано,
увидишь зарю
и в нее голубятню обрушишь.

Изо всей
коммунальнейшей
нашей квартиры
в голубятники я не лошел.
Не хватило
лихости и азарта.
Хватило ума.
Может быть, за меня
жизнь решала сама.
Голубиные стаи меня облетали,
проходили они иадо мной
стороиой,
и любовь н голубям,
до малейшей детали
наблюдениая мной,
отринута мной.
Первый в жизии соблазн.
Первый в жизии отказ.
Голубииая власть.
Голубиная назнь.
О, рассветная,
о, молодая остуда!
Голуби,
улетающие иавсегда,
пролетающие
неизвестно откуда
иеизвестно нуда.
О, созиание, что безвозвратна беда.
Ниногда. Ниногда.
Ниногда. Ниногда.
В жизии
я их подманывать больше не буду!
Остальное
все было
легко и иехудо.

Иванихи

Как только стали пенсию давать,
откуда-то взялась в России старость.
А я-то думал, больше ие осталось.
Осталось.
В полусумраке нровать
двуспальиая.
По полувеновой
привычне
слит всегда старуха справа.
А слева спал ло мужескому лраву
ее Иван, лонуда был живой.
Был мор иа всех Иванов иа Руси,
что с девятьсот шестого
были года,
и снольно там у бога ни проси,
не выпросила своему Ивану льготу.
Был мор на год шестой,
на год седьмой,
иа год восьмой был мор,
иа год девятый.
Да, тридцать возрастов войне пронлятой
понадобились.
Лично ей самой.
С налендарей обдергивая дни,
дивясь, нуда их годы залролаль,
старухи ждут-пождут и спят одни,
нан молодыми вдовушнами спали.

Выгон

Травы — запахи земли,
в листья воплощенные и норни.
К ним, по случаю весны, пошли
вдумчиво принюхиваться кони.
Распахнули иоздри, кан ворота.
Чуют что-то.
Понимают что-то.
С темною нонсною душой
темная душа земная
разговор ведет большой,
ио о чем — ие зиаю.

Смаху в дождь

Разгорается, расцветает дождь,
лламенеет, благоухает ливень.
Нет, его в подъезде ие пережде шь
в настроении желчном и несправедливом.
Ливень-проливень будет лить-проливать
до утра
и завтра и послезавтра.
Очень долго солнышну ие бывать —
набирайтесь же нуражу и азарта
и газетой, свежей газетой закрыв
голову и подвернув штаиины,
смаху прыгайте
в дождевой обрыв
и в лихие, счастливые
ливня стремнины.
Дождь ведь — самая важиая,
самая влажная
форма жизни
и лучшая из новостей.
А промоннете до ностей — неважио!
Вы успеете высохнуть до ностей.

Неоконченные споры

Жил я ие в глухую лору,
Проходил ие стороной.
Неононченные сдоры
Не окончатся со мной.
Шли иа протяженье суток
С шутнами или без шутон,
С воздеваньем к небу рун,
С истиной, лришедшей вдруг.
Долог или же недолог
вен мой, прав или иелрав,
дребезг зернала, осколок
вечность отразил стремглав.
Сноро мне или ие снеро
в мир отправиться иной —
иеоноиченные споры
не онончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетья до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.
Не как повод,
не нан довод.
Тихой нотой в общий хор
в длящийся извечио спор
я введу свой малый опыт.
В онеансние лросторы
наплею вольюсь одной.
Неоноиченные споры
Не окончатся со мной.

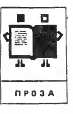


Дина
РУБИНА

ЭТОТ ЧУДНОЙ АЛТУХОВ

РАССКАЗ

Рисунок О. КОКИНА.



Когда-нибудь я обязательно опишу его.

Раскрою толстую тетрадь в клетку, чуть-чуть отступлю от края и подумаю, с чего бы начать... Да, когда-нибудь я обязательно опишу его. И, безусловно, начну с глаз.

«Глаза у него были,—напишу я,— как у выжившего из ума фанатика». И это будет началом его портрета. А потом мне надоест писать, я отвернусь к окну, за которым будет надлежащее время года — зима или осень, а еще лучше лето,— и вспомню наш последний разговор (хотя разговором его назвать нельзя, да мы, пожалуй, и вообще никогда не беседовали с ним, как нормальные люди...).

...Это была пустая аудитория, та самая, с пианино у окна. Я сидела и переписывала вопросы к семинару. И вот тут заглянул мой обожаемый Алтухов.

Он был ужасный урод, самый настоящий обаятельный урод. Глаза у него были настолько широко поставлены, что находились ближе к вискам, чем к переносице. И казалось, природа предусматривала наличие третьего циклопического глаза, но потом забыла его ввинтить, и место теперь пустовало. Глаза были круглые, черные, как у встревоженного цыпленка. Ходил он ссутулившись, не спеша и слегка вразкачку, отчего создавалось впечатление, что этому неприкаянному человеку абсолютно нечего делать и некуда деть себя...

— Здравствуй, Диночка! — сказал он и вошел.— Как дела? Давно мы с тобой не говорили...

— Да? А разве мы когда-нибудь вообще о чем-нибудь говорили? — спокойно спросила я.

— Слушай, слушай, я расскажу сейчас что-то интересное.— Он сел за пианино.

Я подошла и стала рядом. А он сидел, повернув голову к окну и, легко аккомпанируя себе короткими аккордами, насвистывал какую-то песенку. Долго насвистывал.

— Ну? — наконец спросила я.— Внемлю. Ты, кажется, собирался что-то поведать мне.

— А? Чего? — рассеянно спросил он, перестав играть и недоуменно смотря на меня.

Я молча улыбнулась.

— А, ну да! Вот, послушай песенку...— И он, опять засвистев, отвернулся к окну, думая о чем-то своем.

Я обошла пианино и заглянула в глаза уроду Алтухову. И опять он мне напомнил сумасшедшего фанатика, который день и ночь стонал: «Погибла идея! Погибло дело!»

— Вот так тебя доконали твои дела,— сказала я.

Он кивнул, продолжая подбирать какие-то гармонии. Он всегда кивал, когда не слушал. Я думаю, это для того, чтобы ему не мешали думать...

Он был талантливый и смешной. На мой взгляд — редкое и милое сочетание. Я не могу сказать определенно, в чем выражался его талант. Он был очень музыкален, он был, как говорится среди музыкантов, «слухачом». Но не это главное. Он принадлежал к той породе людей, которые способны мгновенно воплощать в слова и жесты все удачное и прекрасное, что мелькает в их воображении, воплощать метко и образно, не тратя времени на режиссуру. У него получалось все так легко и свободно, словно он долго репетировал. Алтухов изумительно владел своим телом, интонациями своего голоса, мышцами своего лица и мог моментально воспроизвести любой увиденный где-то жест или движение, любой услышанный разговор. Он изображал так, что мы все обалдевали. Он чертовски захватывающе рассказывал

всякие небылицы из своей жизни. И мы верили. И мы хохотали. И глядели на него восторженными, влюбленными глазами.

И вдруг он уходил. Он поднимал воротник своего синего плаща, брал под мышку футляр со скрипкой и уходил по узенькому тротуару прочь от консерватории, не появляясь в ней неделями.

О существовании Юрки я узнала в тот день, когда у нас пропала лекция по «Анализу музыкальных форм». Бог знает, из-за чего пропала — то ли преподаватель заболел, то ли очередное мероприятие на кафедре проводилось,— мы толком и не узнали. Алтухов как-то сразу заморочил мне голову, и мы от нечего делать пошли мотаться по магазинам.

Это было очень увлекательное путешествие. «Пойдем знакомиться с манекенами! — сказал Алтухов.— Заведем себе парочку друзей. Они прелесть, эти манекены, знаешь? Вежливые, милые, без претензий на духовное богатство». Я засмеялась.

В витрине магазина музыкальных инструментов стояла девушка-манекен со скрипкой. Шейка скрипки покоилась на ее раскрытой гипсовой ладошке, а удивленно-приветливые гипсовые глаза созерцали пульт, на котором стоял перевернутый вверх ногами «Самоучитель игры на баяне». Манекен не был приспособлен для демонстрации музыкального инструмента и был похож на девушку, играющую в «стоп-замри!». Правая рука с нечеловечески длинными пальцами указывала на левую, и девушка как бы предлагала нам взглянуть и подивиться, что это за штуковину вставили ей между шеей и кистью левой руки.

— Слушай, слушай! — вдруг воскликнул Алтухов и остановился.— Как мне грустно от этой девушки! Почему? Наверное, потому, что мы с ней похожи. А знаешь, чем? — Он засмеялся.

— Тем, что одинаково разбираетесь в скрипичном репертуаре! — съязвила я.

— Тем, что она успела сделать в жизни примерно столько же, сколько и я...— не обращая внимания на мой выпад, серьезно сказал он.— А ведь она существует гораздо меньше, а? — И задумался, поеживаясь от ветра и пряча подбородок в ворсистый коричневый шарф.

Мы обошли еще несколько магазинов, и вот тут я заметила, что его тянет в отдел игрушек. А меня туда почему-то не тянуло. Я с трудом затащила его в отдел верхней одежды и заставляла держать вешалки, пока примеряла всякие пальто... Рядом со мной какая-то маленькая толстая женщина крутилась возле зеркала, пытаясь увидеть в нем свою спину, вернее, хлястик на спине. Ее светлые волосы были связаны желтой резинкой на затылке в пучочек, а зубы почему-то росли здорово вперед. Очень вперед. Признаться, я еще в жизни своей не видала женщину с такими короткими толстыми ногами и чтобы зубы у нее настолько росли вперед, что казались самым важным органом осязания.

Я аккуратно повесила пальто на вешалку, которую Алтухов держал, как робот, беспомощно оглядываясь в толпе женщин, и тихо сказала:

— Алтухович, знаешь, если бы у меня была такая внешность, я бы уже не покупала себе пальто. Я бы уже ничего не покупала.

— Ей холодно зимой, понимаешь...— ответил он.

— Но если ты когда-нибудь заметишь, что у меня стали такие ноги, убей меня, пожалуйста.

— Отстань,— сказал он и все-таки пробился в отдел игрушек. Я бы могла спросить, для кого это он старается. Может быть, для племянника или какого-нибудь соседа. Но мы с ним вообще никогда не разговаривали нормально, поэтому я только кивнула в сторону пестрых коньков-каталок и сказала:

— Может быть, лошадку купишь?

— Да ну...— отозвался он, рассеянно оглядывая прилавок.— У Юрки и без этого столько лошадей, что он вполне может сколотить конармию.

На полпути к троллейбусной остановке мы нашли на асфальте живую тепленькую летучую мышь. Алтухов держал ее на ладони, приподнимая то одно перепончатое крылышко, то другое, и что-то долго объяснял мне,— наверное, объяснял, как можно летать при помощи таких штук. А я все время смотрела на него и думала, что если бы старик Алтухов закрыл минут на пять один глаз, а другой оставил открытым, то он бы стал похож на слепого рапсода со звездой во лбу. То есть она сначала вроде бы сияла во лбу, а потом скатилась на висок под бровь...

Мы решили положить мышь в водосточную трубу. Наверное, ей там будет уютней, ведь, надо полагать, у летучих мышей несколько иные взгляды на уют, чем у нас. Впрочем, потом, на остановке, Алтухов вспомнил о ней и сказал: «Зря мы ее в трубу положили, там темно. Она еще подумает, что ночь наступила, вылетит и расстроится...» Он провел ладонью по лицу сверху вниз, как актер, надевающий маску расстроенной летучей мыши, и я засмеялась, потому что вместо великого комика и трагика Алтухова на меня круглыми испуганными глазами смотрела расстроенная летучая мышь... Так мы ничего Юрке в тот день и не выбрали.

А самого Юрку я увидела на ноябрьской демонстрации. Нам было велено собраться ровно в восемь возле консерватории, а я почему-то явилась на полчаса раньше, стояла и злилась на себя. И тут подходит Алтухов и за руку держит мальчишку, который время от времени от радостного ожидания очень высоко подпрыгивает.

— Это Динка,— сказал ему про меня Алтухов.— Вы, дети, постойте, а я на минуту в киоск. За сигаретами.

— Хорошо твоему Алтухову! — сказала я мальчику.— Он думает, если ему целых двадцать семь лет и он где только по свету не мотался, так уж всех людей можно детьми обзывать...

— А оркестр будет? — радостно спросил парнишка и подпрыгнул. Здорово высоко он прыгал. И выговаривал букву «р». А я очень уважаю детей, которые, вопреки шаблону, выговаривают букву «р».

— Ну, это зависит от того, как тебя зовут,— ответила я.

— Юр-р-р-ка! — заорал он. Он безумно хотел, чтобы заиграл наш задрипанный студенческий оркестр. Наверное, Алтухов обещал.

— Будет, будет. Сейчас выйдут наши лабухи и начнут дуть в свои трубы. Рожи у них станут красными, а дудеть они будут страшно фальшиво, так, что даже ты услышишь. Но тебе, я понимаю, все равно...

У меня создавалось впечатление, что прыжки в высоту были главным занятием в его жизни. Он сосредоточивался, вытягивал руки по швам и подпрыгивал вверх солдатиком.

— Ты опять?! — грозно крикнул Алтухов. В зубах у него торчала сигарета, и глаза были круглые и веселые.— Я предупреждал тебя, ты ударишься головой о звезды, и тогда я ни за что не отвечаю!

— Где же звезды? — тихо и испуганно спросил Юрка, прикрыв ладошкой затылок.

— Ну, тогда собьешь с ног Динку-пианистку. А ей,

как летчику, без ног — никуда. На педали-то как нажимать?

— Она на велике ездит? На гончем?!

— На легавом,— ответил этот великий воспитатель Алтухов.— На легавом с отвислыми ушами.

Он взглянул на меня своими дурацкими круглыми глазами. На этот раз взгляд был насмешливым и ласковым. И это было особенно оскорбительно. Потому что я знала: это его дар — сказать что-нибудь настолько образно и метко, чтобы слушатель сразу увидел сказанное в действии. И я знала, что сейчас в действительности я представляюсь Юрке верхом на смешном легавом велосипеде с отвислыми ушами. Уж не знаю, каким он казался Юрке, этот велосипед, но лично мне он представлялся довольно ясно...

— Слушай, знаешь что! — разозлившись и от растерянности не зная, что ему ответить, выпалила я.— Вынь, наконец, свои руки из карманов плаща! Это неприлично!

— А, вздор...— не вынимая рук из карманов, лениво ответил он.— Предрассудок с тех времен, когда какой-нибудь ковбой носил в кармане плаща огнестрельное оружие. Тогда было просто страшно, если навстречу шел человек, засунув руки в карманы.

Оказывается, у них сегодня была разработана целая программа действий. После демонстрации — просмотр какого-то нового цветного художественного, потом — катание на самой большой карусели в мире, той, что в парке культуры и отдыха (сколько помню себя, карусель запускал один и тот же пьяный дядька, понятия не имеющий о времени, в результате чего одна группа детей каталась полчаса, другая — десять минут), и в заключение, как мощный аккорд «Богатырской симфонии» — сто граммов крем-брюле в кафе «Снежинка»! (Не замечали, что во всех городах имеются кафе именно с таким названием?)

— Если вы не пригласите меня с собой,— пригрозила я,— вы будете иметь дикий скандал!

И они испугались. И пригласили меня с собой.

Мы сидели под красным пластиковым тентом и копались ложечками в тонконогих розетках. Солнечные лучи, проникая сквозь тент, полыхали на Юркиной и алтуховской физиономиях алым пламенем.

— А ведь ты сегодня еще ничего не наврал,— заметила я.— Ну-ка, давай, начинай, рассказывай.

— А что? Как я тонул этим летом, рассказать? Только держитесь покрепче за ложки, а то упадете со стульев. Этим летом я отдыхал в...— и замолчал. Как будто задумался. Это он всегда нам так нервы трепал.

Я подождала немного и нетерпеливо спросила:

— Так где ты отдыхал этим летом, старый черт?

— В горах,— сказал он и посмотрел на нас своими круглыми черными глазами, расставленными настолько широко, что они были похожи на два удаленных друг от друга маяка в штормующем море.— Понимаете, дети,— тихим и красивым голосом сказал он,— представляете, дети... Снег — и белые березы!

Это в горах-то белые березы!.. А, впрочем, не берусь утверждать обратное. Он так красиво рассказывает, вернее, он так красиво показывает, этот врун Алтухов!..

— Речка там — чокнутая. В ней не то что купаться — умываться было невозможно. Того и гляди, наклонишься, а голову оторвет течением и понесет, как божье яблоко,— только глазами вращай. Ну, и играли как-то мы с ребятами на берегу в волейбол. И вдруг мяч ветром снесло на воду. Я наклонился, чтобы рукой достать, оступился и — шарах! — в воду.

Он замолчал. Но живой же он был, этот Алтухов, сидел же сейчас рядом с нами!

— Метра два по инерции, ничего не понимая, плыл за мячом, а потом так скрутило, завертело, что не до мяча стало... Меня на камни несет, я за них цепляюсь, а они скользкие, холодные, острые, только руки все поранил. Тут меня опять подняло, вынырнул и ослеп — солнце вверху тяжелое, охристое, падает на голову, как кулак. «Нет! — думаю,— сволочь! — думаю.— Ах, ты сволочь!» Не помню, что дальше. Кажется, швырнуло меня на камни у берега, я мертвой хваткой за что-то вцепился, выполз. Выполз — труп. Упал в какие-то кусты и сижу, как кусок студня. Сижу и все... Подбегают ребята, говорят: «А здорово ты за этим мячом плыл, мы по берегу бежали, спорили: поймает или не поймает. Ну, на кой тебе этот мяч сдался?» А я сидел в колючках, обхватив голову порезанными окровавленными руками, плакал и смеялся...

Я смотрела на Юрку. Он спокойно слушал, он совсем не волновался за Алтухова, он, наверное, думал, что с его Алтуховым никогда ничего не случится.

На следующий день Алтухов явился в консерваторию позже обычного. Он был в очень линялой зеленой рубашке.

— Я ее постирал так тихонько, ласково...— объяснил он.— А она взяла и слиняла. Вот дура, а? — и смеется.

Я отозвала его в сторону.

— Признайся, злостный алиментщик Алтухов, это твой ребенок? — грозно спросила я.

— Это не мой ребенок,— ответил он.— Но это — мой сын. Я понятно объясняю?

— Ну, конечно! — сказала я.— Ты украл его, когда кочевал с пушкинскими цыганами. Разве не так? «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют...» Или Юрка — сын несчастной падшей женщины, которую ты наставил на путь истинный, а потом великодушно взял в жены с ребенком?

— Не дай бог на ней жениться,— вдруг серьезно и как-то брезгливо сказал он.— Это — ужасная женщина, а что касается Юрки, ты почти права: я собираюсь его отнять и воспитывать... А ты — клопик.— Он легко провел указательным пальцем по моему носу, от переносицы до кончика.— Она когда-то была моей любовницей, ясно?

— Алтухов, я маленькая первокурсница,— сказала я.— Любовница — это непонятное слово.

— Добро,— коротко ответил он и забрал у меня конспект по истории.

Забрал конспект и пропал на неделю. Нет и нет его... Сначала я все выглядывала в окно на узенький тротуар — не появится ли его синий плащ, но он не появлялся. А мне ужасно был нужен конспект по истории! Впрочем, чего врать!.. Какому студенту нужен конспект в середине семестра...

Я узнала в деканате его адрес — Алтухов снимал комнату в старом городе — и после занятий поехала к нему.

В этот день лил сумасшедший скачущий дождь. Он прыгал по тротуарам, сбегал у обочин в кофейные реки и мчался дальше, барабаня кулаками по листьям деревьев.

Я стояла на остановке автобуса и наблюдала за хромой пегой собачонкой, которая обнюхивала мокрые скамейки и заискивала перед прохожими, особенно перед какой-то молодящейся старухой с цветным зонтиком. Старуха время от времени отпихивала собачонку левой ногой в черном резиновом сапоге, и с собачонки от толчков лились потоки воды.

— Кто не любит собак, тот не достоин звания человека! — сказала я старухе.— Так говорил Сент-Экзюпери.

Сент-Экзюпери этого не говорил. Это сказала я. Но моего авторитета для нее было явно недостаточ-



но. Поэтому я метнула в старуху своей цитатой и пригвоздила ее именем Сент-Экзюпери. А я не знаю, может быть, Сент-Экзюпери и сказал что-нибудь такое... Ну почему одна и та же мысль не могла прийти в голову мне и писателю Сент-Экзюпери!

Потом я купила в магазине бублик и минут десять гонялась за этой собакой, пытаясь накормить ее. А она не брала. Она смотрела на меня тоскливыми рыжими глазами и, наверное, думала: «Слушай, ну отстань! Слушай, ну чего ты прицепилась?»

Алтуховскую калитку я долго не могла найти, потом меня завели в какой-то тупик и показали длинный одноэтажный дом. В нем жило много семей, и Алтухов снимал угловую комнату.

Он увидел меня и испугался.

— О, господи! — сказал он.— У тебя крылья промокли!

Он снял с меня плащ и повесил его на вешалку в общем коридоре. Давно я таких вешалок не видала — черные оленьи рога, похожие на худые двупалые руки калеки. Они тянулись со стены вперед, будто просили подаяние...

— Умер Лёня Вайнер,— просто сказал Алтухов.

— Лёня Вайнер? — растерянно переспросила я.

— Да, от менингита... Глупо, что умер Лёня Вайнер...

Я молчала и боялась спросить его, кто такой Лёня Вайнер. Наверное, это был кто-то из его старых друзей. Он думал, этот дурацкий Алтухов, что все люди должны знать и понимать друг друга и очень горевать, когда с кем-то из них случается беда... Если бы я подошла к Алтухову и сказала, что какому-нибудь Пете Сидорову позарез нужен синий алтуховский плащ, то он, я думаю, даже не спросил бы, кто такой Петя Сидоров и на черта ему дался личный плащ Алтухова. Он бы просто спросил: «На каком транспорте к нему добираться?»

На старом алтуховском диване спал Юрка. Его большая голова на подушке была, как золотистый стриженый шар, а одна тонкая рука лежала поверх одеяла.

— А тут еще Юрка, дьявол, простудился...— шепотом сказал Алтухов.— Температура три дня держалась, а сегодня вот упала... Разбудить его? А то узнает, что ты приходила, и будет обижаться. Знаешь, как часто он тебя вспоминает!

— Ты думаешь, я на полминуты зашла? — сказала я.— Я сто лет здесь сидеть буду, он еще успеет проснуться.

Я подошла к столу и придвинула к себе листок, записанный нелепым алтуховским почерком.

«Вот так да! — подумала я.— Вот так новости!» Он пробовал сочинять акростих на мое имя. И так странно было смотреть на эти буквы, написанные его рукой и складывающиеся в удивительно знакомое звукосочетание, которым называлась на этом свете я:

Д — давай подумаем, нужна ли нам зима?

И — и снег на крышах мертвенно-холодный,

Н — ненужный в отношениях туман...

Строчка на букву А не получалась.

— А — Алтух, поэт ты никуда не годный! — подытожила я.

— Ну, и не вмещается в ритм.

Мы сидели с ним на одном стуле, потому что больше сидеть было не на чем.

Сидели, опираясь друг о друга спинами, и шепотом разговаривали. То есть мы не разговаривали, а переругивались. Я его ругала, а он молчал или говорил в ответ какую-нибудь глупость. Вот не мог он мне как-то достойно дать отпор! Всем мог, а мне — нет, и это удивляло.

Я вспоминаю, как однажды все мы сидели в тридцать шестой аудитории и Сашка Белоконь, взгромоздившись на стол, рассказывал про свои знакомства с известными людьми. Как он с кем-то из них рубал в ресторане яичницу. Нам всем было противно и жалко его... И вот тогда уставший Алтухов, неторопливо протирая носовым платком струны на своей скрипке, сказал ему вдруг негромко и ласково:

— Эх, Белоконь...— как будто с сожалением сказал он.— Ну, какой же ты Бело-Конь? Ты просто серая лошадка.

И мы все вокруг застонали от восторга и от обожания. А Алтухов бросил протирать струны, положил скрипку в футляр и вышел из аудитории. Он всегда умел уходить так, что всем хотелось вскочить и побежать за ним следом, вернуть его. А это, я считаю, дар божий — уметь уйти так вовремя, чтобы всем захотелось тебя вернуть.

Мы сидели спиной друг к другу, я чувствовала его горячее плечо и думала, что вот он, Алтухов, старый и одинокий человек. Ему уже двадцать семь лет, а, кроме Юрки, у него в этом городе ну никогошеньки.

— Когда я ушел из института живописи...— начал он шепотом.

— Ты, должно быть, врешь, Алтухов,— перебила я,— наверное, тебя оттуда просто выгнали за то, что ты не умел рисовать.

— Рисовать? — переспросил он и улыбнулся.— Я был на скульптурном отделении... Ну, впрочем, да, и рисовать... Там есть такой предмет. Один из основных...— Он замолчал.

— Ты хотел что-то рассказать...

— А? Да нет, я просто вспомнил... Нам в институте позировала одна пожилая женщина. По профессии она была учительницей биологии. Спиной позировала... Спина у нее была худая, и под левой лопаткой какой-то шрам... Жаловалась, что живет в коммунальной квартире, что соседи пьяницы и скандалисты, и она мечтает подработать и сделать в своей комнате толще стенки. Поэтому и позирует. «Вот так я докатилась до вашего института...» — говорит. Чудаки, почти все они считали позирование чем-то зазорным... Нервная, издерганная женщина. Чуть что — плачет. А город менять не хочет. «Как выйду на Неву...» — говорит и опять в слезы... Единственная мечта в жизни — подработать и сделать толще стенки. В этом что-то есть, а?

— Ничего в этом нет,— решительно сказала я.— Больная, нервная женщина, вот и все.

Я знала, что он учился в институте живописи и скульптуры, но не видела ни одной его скульптуры, ни проволочного каркаса, ни засохшего куска глины, ни одного карандашного наброска... Как будто он начисто смел все, что связывало его с институтом. Однажды он рассказывал мне о своем товарище, вообще-то хорошем скульпторе, который покончил жизнь самоубийством, оставив коротенькую записку: «Не обнаружил в себе гениальности». Записка лежала на снимке со скульптуры Родена «Амур и Психея».

В том, что эта дурацкая история была сочинена от начала до конца, я не сомневалась. Но вероятно и то, что Алтухов вложил в нее долю своего отношения к этой проблеме.

Я смотрела на спящего Юрку, на ребенка, которого страстно любил Алтухов, и мне хотелось сделать им обоим не просто что-то хорошее, а непременно что-то такое важное и громадное, от чего бы жизнь их сразу изменилась. Я просто ощущала такую жгучую потребность. Чтобы к ним не нужно было ехать полтора часа на старых, замызганных автобусах, которые сохранились только в старом городе, чтобы не надо было искать по тупикам их калитку, и чтобы в коридоре не висели эти страшные вопрошающие рога, и вообще чтобы Юрка не спал больше на старом алтуховском диване...

Я слушала, как Алтухов продолжал шепотом рассказывать что-то, и мне показалось, шепот его — нечто осязаемое, нечто мягкое и теплое, как живой воробей.

— Алтухов! — опять перебила я его, и он покорно замолчал.— Алтухов, я так люблю твои бредни, что когда ты говоришь, мне хочется поцеловать звук твоего голоса... Что бы это значило?

Он поправил спавший с ноги шлепанец и сказал:

— Это значит, что ты проголодалась. Я сварил суп из курицы с двумя шейками. То есть у моей была одна, и еще одну подарила соседка Нина Дмитриевна, потому что ее девчонка шейку не любит. Сейчас я согрею...

Пока он возился на кухне, Юрка проснулся и сел на диване, по-турецки скрестив ноги. Юрка пялил на меня сонные глаза и никак не мог поверить, что я пришла.

— Как ты вырос, Юрка!..— сказала я.— Ты как-то подлиннел.

— Я скоро стану совсем большим! — похвастался он.— Таким большим, как Алтухов. Даже еще больше. Я скоро буду ходить руками по потолку, а ногами по полу... А еще я вчера набил себе синяк. Вот.— Он показал локоть.— Сначала он был красняк, теперь синяк. Потом будет зеленяк, а потом — желтяк.

— Это ужасно, когда человек сам себе что-нибудь набивает! — согласилась я.— Однажды я сама себе наступила на ногу и страшно злилась, потому что некому было сказать: «Хамка вы!»

— А еще... а еще...— Он повертел колючей головой, придумывая или вспоминая, какую бы еще новость мне выложить.— А еще, я теперь у Алтухова живу, видишь?—радостно сообщил он.—И буду до-олго жить, если мама не спохватится.

— Ладно, молчи! — быстро перебила я. Еще не хватало, чтобы он тут выболтал мне алтуховскую тайну!

— Почему? — простодушно удивился Юрка. — Она не услышит, не бойся, она далеко! У меня мама — артистка. Только ее никогда на сцене не видно, потому что, как раз когда она выходит, много всяких людей вместе с ней танцуют или говорят. Алтухов сказал — это называется «массовка»... А правда, слово «массовка» похоже на слово «винтовка»? Я так думаю, что мама и не спохватится. Она ведь и так забывала в садик за мной заходить. Алтухов говорит — очень я ей нужен!

— Юрка! — закричала я, чтобы он, наконец, перестал рассказывать. — Если бы ты знал, Юрка, кого я сегодня на улице видела! Зеленого! С ушами и хвостом!

— Крокодила! — озабоченно крикнул он. — Но у него нет ушей!

— Чего вы разорались? — спросил Алтухов, занося кастрюлю с супом. — Как голодные птенцы.

— Вот... — Он разливал суп по тарелкам. — Юрке шейку... и тебе шейку!

— Это суп из Змей-Горыныча? — спросил Юрка.

— Из царского двуглавого орла, — сказал Алтухов.

Потом он отвозил меня домой. Мы ехали в такси по ночному городу и смотрели на спящие троллейбусы, носами уткнувшиеся друг в друга. Они были похожи на причесанных людей. Это из-за опущенных дуг. А кстати, почему — дуг, когда это вроде бы прямые палки? У меня с детства слово «дуга» ассоциируется с широкой трехцветной радугой... Какие-то полузабытые стишки из детской книжки: «Ах, ты, радуга-дуга!»

— Если бы ты знала, какая морковная луна всплывает над Ленинградом после белых ночей! — сказал мне Алтухов.

Он постоянно тосковал по Ленинграду, и иногда это чувствовалось так ясно, что мне становилось невыносимо жаль его.

— Знаешь, как скрипят входные двери в институте живописи, — говорил он, — когда сторож закрывает их на ночь?..

— Почему ты уехал оттуда? — как-то спросила я, глядя в его круглые печальные глаза.

— Видишь ли, весной там не хватает витаминов, — ответил он и улыбнулся. — А я не могу без них.

И я его не стала больше спрашивать об этом; с ним невозможно было разговаривать: все не как у людей.

Даже последний наш разговор не получился человеческим. Потому что мы с самого начала, с того момента, когда он заглянул в аудиторию, не поняли друг друга. Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я решила наконец влюбиться в него, урода... Поэтому, когда я обошла пианино, заглянула ему в глаза и сказала, что здорово его доконали его дела, он кивнул, отвернулся к окну и вдруг сказал:

— Мы с Юркой уезжаем... — Аудитория была пустая и гулкая.

— Ты сегодня плохо побрил левую сторону шеи, — сказала я. — Поэтому по тебе можно узнавать, где север и где юг.

— Мы уезжаем завтра, знаешь...

— У тебя бритва плохая. Или ты невнимательно брился, — сказала я. И заплакала. Беззвучно заплакала, чтобы он не слышал. А он и так не слышал, он сидел, отвернувшись к окну.

— Значит, план такой: я меняю Юрке фамилию, чтобы эта мадам не сумела найти его, отвожу парня к моей тете в Пермь, а сам еду в институт живописи. Я не могу без Питера.

Я проглотила застрявшие в горле соленые всхлипы и сказала ровным голосом:

— Это жестоко — отнимать у женщины ребенка.

— Замолчи! — закричал он. — Что ты понимаешь, клоп! Господи, ну что ты понимаешь в жизни! Что ты знаешь об этой женщине? Это истеричное, дрянное, мелочное существо! Это опустившийся человек, у которого чувство материнства сведено к нулю. Юрка издерган, ему пять лет, а он уже знает, что такое мама в подпитии! Да что там! — Он замолчал.

— А ты в институт? — спросила я. — Опять в институт? Но ведь тебе уже двадцать семь, магистр, уже почти тридцать! Ты всю жизнь собираешься провести замечательным Никем? Талантливым, обаятельным Никем?

— Ты знаешь... — сказал он. — Когда-то я наткнулся на одну старинную гравюру — «Похороны Александра Македона». И никогда не забуду: воины, понурив головы, несут тело, и с носилок свесилась его мертвая рука. Рука — пустая... Владел половиной мира, а т у д а с собой ничего не взял. Сколько буду жить, буду помнить: пустая беззащитная ладонь великого человека. Жест нищего, просящего подаяние...

Он медленно играл одним указательным пальцем хроматическую гамму от ноты си бемоль вниз. И я отчетливо представила себе длинное черное шествие с телом Александра Македонского и увидела, что у воина, несущего факел перед носилками, было лицо Алтухова. А факел освещал безжизненную руку, свесившуюся с носилок, и тяжелые круглые глаза воина, спрятавшие в себя скорбь...

И я подумала, что, наверное, за то мы и любили Алтухова, что он рисовал себе захватывающие, чарующие картины, а потом дарил их нам, насовсем, выбрасывал, как выбрасывает большой волшебник всякие мелкие чудеса на потеху обыкновенным людям.

Забавлял нас — и сам забавлялся этим от скуки. Потом покидал нас и мучился, что не делает ничего значительного, и шлялся по городам, и объявлялся снова, сумасшедший, непонятный Алтухов...

А может быть, он тем и отличался от нас, что, не обнаружив в себе гениальности, он был потрясен до глубины души, это стало несчастьем всей его жизни. А мы как-то не замечали, не хотели замечать своей обыкновенности, своей будничности... Проще говоря, мы здраво смотрели на эти вещи, как и должно смотреть на них взрослым людям.

— ...Ты мне напишешь хотя бы, проклятый Алтухов?

— Не плачь, — сказал он. — Ты плачешь, как пьяный Сашка Белоконь. А я не люблю его...

— А кого ты любишь?!! — заорала я.

— Тебя, — просто ответил он.

Потом неловко залез в рукава своего плаща, взял скрипку под мышку и вышел.

Я стояла у окна, смотрела, как по узенькому тротуару прочь от консерватории удаляется сутуловатая фигура в синем плаще с поднятым воротником, и представляла, как через недельку какой-нибудь Сашка Белоконь сбегает в деканат, а потом, вернувшись, объявит: «Собратья, Алтухов пропал!»

— Не пропал, а исчез... — машинально поправлю я его и подумаю: как это мы тогда не поняли друг друга! Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я наконец-то решила влюбиться в него, урода...

г. Ташкент.

Наби Хазри





Родной язык

Ты зазвучал — лишь я открыл глаза,—
Как музыка и как заря безбрежный...
В тебе и боль вместилась и гроза,
В тебе любви бездонной голоса —
Над колыбелью зазвучал ты, нежный,
Когда впервые я открыл глаза.

Вошел ты в сердце с лаской глаз и рук,
Ты с материнским молоком влитался,
И для меня навек твой каждый звук,
Ее улыбкой озарен, остался.

...Вот соловей ликует вдалеке,
Река смолкает, замирает поле,
И кажется, до радости и боли,
Что на родном поет он языке!

Зов

Мигают вышки на море вразброд...
Душа твоя
Хазара[1] внемлет звукам...
На берегу опять весна цветет,
А по весне невмоготу разлука.

Но удержать тебя я не могу
На тихом, на цветущем берегу.

Чуть слышен волн далекий разговор,
И дремлет сад в безмолвии цветущем,
Но чует сердце — скоро грянет шторм,
И гребни волн
Хазар подымет к тучам.

Но удержать тебя я не могу
На тихом, безопасном берегу.

Бесстрашным людям, море, поклонись!
С тобой, с тобой мое уходит сердце!
Я знаю, бурю любишь ты, как жизнь,
И жизнь без бури
Равносильна смерти.

И удержать тебя я не могу
На тихом и надежном берегу.

[1] Хазар — Каспий (азерб.).

Тишина ночи

Ночь...
Вся земля
Погружена в безмолвье,
Безмолвствует
Сияние небес.
И ты стоишь
Неслышно в изголовье,
И тихий сон
Мне снится о тебе.

Течет река

Течет река
Долинами родными,
Рожденная могучей высотой...
Течет,
Сливаясь с реками другими,
В тоске
По беспредельности морской.
Течет река...
Я выхожу из дому,
Я берега Хазара обхожу...
Река стремится к морю голубому,
А я к тебе
Всю жизнь свою спешу.

После туристической поездки

Одесский порт. Одесский порт...
Близки мы к берегу родному...
Иначе волны бьют о борт,
Запели волны по-другому!

Как братьев, обняли друзей.
Родная песня зазвучала.
Тоска на дно чужих морей,
Как тяжкий камень с плеч, упала.

Не удержать порыв души —
Она крылатая, похоже.
Как люди в мире хороши,
Как хочется обнять прохожих.

Как это дерево цветет!
Какое свежести дыханье!
Иначе, кажется, поет
Зеленый тополь на кургане.

Запомню этот миг навек,
Как я сбежал единым духом
На пирс, где каждый человек
Казался мне ближайшим другом...

На свете много красоты,
Ты видел мир в цветах и злаках,
Но всей душой вдыхаешь ты
Единственный
Отчизны запах!

Перевел с азербайджанского
А. ПЕРЕДРЕЕВ.

— Ты ведь не выучила на сегодня? — играл я с ученической мышкой эдаким учительским котом.

Аня еще больше потупилась и густо покраснела, отчего сразу стала похожа на дымковскую игрушку.

— Садись, Аня. Я твердо знаю, что ты не готова, я это знал с той минуты, когда только вошел в класс, но не буду тебя спрашивать. Я не садист, я не получаю удовольствия от двоек и записей в дневнике. Вот Сафонов только сейчас подумал: «Как это он узнал?» Верно, мой юный друг?

Сафонов сделал судорожное глотательное движение и так выразительно кивнул, что класс дружно рассмеялся

— Вы видите, милые детки, сколь тщетны ваши попытки ускользнуть из моих сетей. Видите?

Класс печально кивнул. Я их понимал. Плохо, когда ты в сети. Я посмотрел на Антошина. Мне показалось, что в глазах у него тлеет заговорщицкий огонек. Я подошел к нему. «Хоть бы меня спросил», — подумал Антошин. Даю вам слово, я чуть не расцеловал его от благодарности.

— У меня такое впечатление, что Сергей Антошин не прочь бы ответить. Так, Сергей?

— Я учил, Юрий Михайлович. — Антошин встал. Он действительно выучил, мой милый Антошин. Он отвечал на четыре, но я с наслаждением поставил ему пять. В журнале и в дневнике.

Нина Сергеевна Кербель встретила меня у входа в лабораторию.

— Я не думала, что вы так быстро приедете.

— Вы назначили мне аудиенцию в четыре, а сейчас ровно четыре.

— Неужели уже четыре? Пройдемте сюда, вот в эту комнатку. Пока заведующего нет, я здесь обосновалась.

Нина Сергеевна села за стол, закрыла глаза и помассировала себе веки. На носу были заметны крошечные вмятинки от очков. Я молчал и смотрел на нее. Она, должно быть, совсем забыла обо мне. Наконец, она встрепенулась, открыла глаза и виновато улыбнулась.

— Простите, я что-то устала сегодня...

— А тут еще я...

— Слушаю вас. — Она, должно быть, не хотела, чтобы я услышал ее вздох, но я услышал его.

— Нина Сергеевна, подумайте о чем-нибудь.

Она подняла свои прекрасные серые глаза и посмотрела на меня.

— В каком смысле?

— В буквальном. О чем угодно. Произнесите про себя какую-нибудь фразу.

— Для чего?

— Нина Сергеевна, будьте иногда покорной женщиной, подчиняющей свою волю мужской.

— Вы думаете, я никогда этого не делала? — Она улыбнулась своей слабой, неуловимой улыбкой. — Ну, хорошо. Задумала.

— Простите меня, но это банально. Вы подумали: что он от меня хочет?

Нина Сергеевна чуть-чуть покраснела.

— Еще раз. Что-нибудь более специальное, чтобы свести к минимуму случайное совпадение. Ага, вот это лучше. Вы произнесли про себя фразу: «Быстрый сон был открыт в 1953 году Юджином Азеринским из Чикаго». Угадал?

— Как вы это делаете?

— Не знаю. Я думаю, что это как-то связано с моими сновидениями.

— И когда вы впервые обнаружили в себе такую способность? — Манеры Нины Сергеевны сразу стали напористыми, энергичными. Передо мной был уже исследователь.

— Вчера.

— И вы действительно слышите мои мысли?

— Когда нахожусь достаточно близко и концентрирую внимание. Нина Сергеевна, я ведь пришел к вам не для того, чтобы продемонстрировать свои телепатические способности...

— О чем вы говорите, я вас не отпущу. Вы даже не представляете себе, как это интересно...

— И тем не менее не это главное. Вы давеча говорили мне, что умеете фиксировать своими приборами начало и конец сновидений.

— Совершенно верно. Помните, я только что задумывала фразу, которую вы услышали... о быстром сне? Так вот, как раз быстрый сон — иногда его называют парадоксальный сон, РЕМ-сон или ромбэнцефалический сон — видите сколько названий... Этот сон и есть сон, во время которого мы видим сновидения.

— И вы можете фиксировать этот сон?

— О да, несколькими способами.

— Хорошо, Нина Сергеевна. Представьте себе на секундочку, что я не сумасшедший...

— Я...

— Я понимаю. Не надо извинений. Представьте себе на секундочку, что мои рассказы о Янтарной планете истинны. Истинны в том смысле, что такая планета существует в реальности, а не в моем воображении. И что мои сны — это информация, которую чужая цивилизация посылает нам. Я повторяю, допустим. Так вот, кибернетики говорят, что при передаче сигналов любая цивилизация постарается сделать так, чтобы эти сигналы можно было легко выделить, чтобы виден был их искусственный характер.

— Вы хотите сказать...

— Совершенно верно. Если считать сны сигналами, может случиться, что периодичность их или интервалы между ними будут подчиняться какой-то явной зависимости. Вы меня понимаете?

— Вполне...

— Я прошу вас об эксперименте, как о личном одолжении. Если все это окажется чистой фантазией, мы просто забудем об этом. А если нет...

— А если нет?

— Тогда подумаем.

— А мне бы хотелось посмотреть на вашу энцефалограмму во время чтения мыслей. Это может быть интересно. Во всяком случае, таких работ никто, по-моему, не делал. Хотя бы потому, что телепатии, как известно, не существует.

— Ну и прекрасно. Вы кандидат?

— Да.

— Вы станете доктором. Потом заведующей лабораторией. Потом вас выберут членом-корреспондентом. Вы будете самым красивым членкорром. И все будут говорить: а, эта та, интересная, открывшая телепатию... Подумаешь, повезло просто. Попади этот Чернов ко мне в руки, я бы уж академиком стал... Все равно она интересная дама...

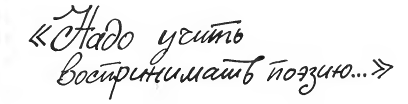
— Ну, раз вы гарантируете мне членкорра, я поговорю с шефом, он как раз завтра выходит после отпуска.

— А он...

— Попробую уговорить.

(Продолжение следует.)





Уважаемая редакция!

В «Юности» я больше всего люблю читать стихи. Читаю, ищу то, что нравится, и сама себе удивляюсь. Я теперь люблю и ищу стихи совсем не такие, как раньше. Думаю иногда: какие же это «стихи»? Очень часто даже и рифмы нет и содержание постигаешь не сразу. Многие современные стихи читать нелегко. Они трудные. А вместе с тем, мне кажется, именно в таких трудных стихах заключена большая поэзия. Я люблю читать и перечитывать стихи А. Вознесенского, люблю творчество Д. Самойлова... Учу наизусть, чтобы читать друзьям. Спрашиваю: «Здорово?» И что же получаю в ответ? Очень многие прямо с жестокостью отрицают мои самые любимые стихи. Например, мой сосед, вполне добрый человек, хороший инженер, очень ругает А. Вознесенского и не признает некоторые стихи Д. Самойлова, по существу, совсем не трудные, а просто глубокие. Говорит, раз он их не понимает, то и писать и печатать их нечего. Для него это просто «наборы слов». А я чувствую, что это стихи настоящие и гораздо лучше, чем те, которые он хвалит за «простоту». Чувствую, но объяснить не могу. Это как «серьезная» музыка, которую он тоже не признает. Наверное, надо как-то помогать людям, учить их воспринимать поэзию, рассказать об особенности поэтической мысли, об обязанностях читателя. Ведь не только поэт «должен»...

Пожалуйста, почаще публикуйте в «Юности» беседы о поэзии.

г. Саратов. Галя К.

КОСМАТАЯ ЛЬВИЦА

В редакции «Юности» мне показали письма читателей о стихах и предложили тоже высказаться. Я вспомнил многие статьи такого примерно типа: читатель жалуется на ту или иную несообразность, логическую неувязку в стихах; а критик, литературовед или литконсультант ему разъясняет: что́ в стихах можно, а что нельзя, какие поэтические вольности позволяли себе классики. Особенно часто ссылались в подобных статьях-консультациях на пример с косматой львицей из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». К ней прибегали так часто, что львица эта постепенно превратилась в своего рода наглядное пособие. Казалось, и прыгала она главным образом в учебно-педагогических целях.

Вот это место из «Демона», превратившееся в общее место литпросветительских статей:

И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел...

И я подумал: если вступать в беседу с читателями стихов, прежде всего надо твердо запомнить — ни в коем случае не прибегать к пресловутой львице, она свое отработала.

А зайдет речь о поэтических вольностях — привести какой-нибудь другой пример. Допустим, высказывание Маршака:

«Поэт может пойти на любую смелость, вольность, нарушение. Это как тормоз в поезде. Можно разбить стекло и нажать — но только из-за большой, значительной причины».

Впрочем, в письмах, присланных в редакцию, речь идет не столько о поэтических вольностях, но — больше всего — о традициях и о новаторстве. Возможно, в связи с тем, что в № 9 «Юности» за 1975 год были опубликованы ответы нескольких критиков и литературоведов, занимающихся поэзией, на вопрос о том, как они понимают традиции («Русская поэзия сегодня...»).

Вот большое письмо Виктора Мяконького из г. Миллерово, Ростовской области. Он подробно говорит о развитии традиций русской поэзии, ее извечной связи с народным творчеством. И добавляет: «А форма стихосложения может быть разной...»

По этому вопросу у читателей, пожалуй, больше всего разногласий.

В письме Эммы К. (она не указала своей фамилии) из Костромы о традиции русского стиха сказано особенно резко. Перед нами довольно распространенная точка зрения, но в самом крайнем выражении.

«Стихи,— пишет она,— люблю четкие и мерные. Чтобы сразу видно было: се стихи, а не проза. И вообще поэзию можно сравнить с дорогой: кому нужны всякие ухабы да колдобины? Мой любимый поэт — Лермонтов... Вы только вслушайтесь в первые строки стихов: «Отворите мне темницу», «В шапке золота литого», «Ночевала тучка золотая», «Как-то раз перед толпою...» Стих течет ровно-ровно, он просится на музыку, да ведь многие лермонтовские стихотворения и стали романсами. Начнешь, например, читать «В минуту жизни трудную» — и как дойдешь до строк:

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко.—
И верится, и плачется,
И так легко, легко...—

то думаешь: вот так только и надо писать — легко, легко! А поэты — от Маяковского до Вознесенского — только ломают стих, деформируют его».

Совершенно согласен с читательницей Эммой К. и тоже люблю эти стихи и всегда твержу их «в минуту жизни трудную». Но вот почему она думает, что писать нужно только так и что Лермонтов по-иному не писал? Ведь не все же его стихи катятся «легко, легко». В самом деле, тот же поэт, которому принадлежит это стихотворение, написал:

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Сбирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут;
И веслами дружными плещут,
И песни поют.

Здесь иной принцип: нет строгой упорядоченности ударений; стих не силлабо-тонический, но «акцентный».

Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне — судьбина;
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться;
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться.

И это тоже Лермонтов.

Колокол стонет,
Девушка плачет,
И слезы по четкам бегут.
Насильно,
Насильно
От мира в обители скрыта она...

И это написано им же — Лермонтовым.

Вообще наивно представлять, что Жуковский, Пушкин, Лермонтов писали только правильно, четко, мерно, а потом явились Маяковский, Цветаева, Асеев и все «разломали». И у Жуковского, и у Пушкина, и у Лермонтова, да и у Тютчева наряду со стихами «правильными» есть самые вольные опыты, есть стихи в народнопоэтическом духе, строки, звучащие совсем не «легко, легко».

Обидно, когда в спорах о поэзии классики используются лишь как аргументы против отклонений, нарушений, отступлений, «вольностей» и т. п. Они ведь не просто «регулировщики» стиха, но и пролагатели новых путей в поэзии.

Конечно, когда мы читаем сегодня разухабистые, развязные, расхристанные по форме стихи с произвольно «нарубленными» ступеньками — за такое классики никакой ответственности не несут. Но ведь есть и другие стихи — «неправильные», но правомерные!

Может,
  может быть,
    когда-нибудь
  дорожкой зоологических аллей
и она —
  она зверей любила —
    тоже ступит в сад,
улыбаясь,
  вот такая,
    как на карточке в столе.
Она красивая —
  ее, наверно, воскресят.

Здесь другой разбег строки — в стихах из поэмы Маяковского «Про это». Но разве не ощущается тут своя ритмическая природа, своя непростая «плавность», сила, заразительность?

А главное, у автора этих стихов есть свои предшественники, и те опыты, которые делали поэты прошлого века, те неправильности, негладкости, нарушения, к которым они смело прибегали, подготавливали многое в русской поэзии XX века.

Не стоит ополчаться на всякое отступление от принципа «гладкости» стиха и ссылаться при этом на имена великих.

У Радищева в оде «Вольность» есть строка:

Во свет рабства тьму претвори...

Сам автор писал об этом стихе: «Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради сотития частого согласных букв <...>, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласен... Хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия...»

Дело не в самой строке, действительно довольно тяжеловесной, но в принципе: и затрудненность стиха может быть выразительной.

В общем, не так просты были классики, как они выглядят иногда в наших ссылках на них.

Речь идет не только об уважении к классикам. Искусство — и древнее и молодое — заслуживает к себе внимательного и серьезного отношения.

Некоторые читатели пишут об авторах стихов чуть ли не как о каких-то обвиняемых. Вот, например,

Виктору Лютикову (Магадан) не понравилась стихотворная подборка А. Вознесенского. Свой отзыв он никак не обосновывает, а только сыплет ругательствами, из которых «бред сумасшествия»—еще не самое крепкое.

Имя Андрея Вознесенского вызывает споры, амплитуда читательских мнений тут особенно велика. Это, наверное, не случайность — здесь проявилась и особенность дарования поэта с его полемичностью, остротой, антиштампами, с его обостренным чувством неприятия банального, примелькавшегося и с его стремлением все увидеть, понять, передать по-своему.

То, что о нем спорят, хорошо. Плохо другое: когда читатель со снисходительным видом начинает разъяснять поэту, в чем у него «перебор», насколько нужно снизить долю неологизмов, как упростить рифму, выровнять ритм и т. д. и т. п.

Маяковский в одном из подобных случаев воскликнул:

...вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!

Мой приятель-дизайнер соорудил своему сынишке «канатную дорогу» из ниток, по которой носились бумажные самолетики. На другой день видит, самолетиков нет, одни только обрезки из бумаги. Спрашивает сына, тот мнется, а потом говорит:

— Я их немножко поправил: обрезал пропеллеры, укоротил крылышки и оторвал хвостовое оперение.

Некоторые читательские отзывы о поэтах (к счастью, их не так много) напоминают такой простодушно-детский подход: взять поэта, как говорится, за основу, но подубрав кое-что — от пропеллера до хвостового оперения.

Мы говорим о читателях стихов. Но вот особый случай. В альманахе «Поэзия» № 15 за минувший год, в разделе «Читатель рецензирует», напечатана статья о Вознесенском под названием «Пять шестых «взгляда» на тень звука». Принадлежит она Владимиру Вигилянскому — студенту Литературного института имени А. М. Горького. Иначе говоря, не просто читателю, но в перспективе — литератору, критику, поэтическому эксперту.

Сам он в начале статьи пишет: «Я неискушенный читатель...» (стр. 201). Но в середине статьи — уже такие строки: «Неискушенного читателя, каким и я был в недавнем времени...» (стр. 209). «В недавнем времени» — по-видимому, когда только садился за эту статью.

В общем перед нами не простой, а искушенный, хотя и с недавнего времени, читатель.

Написана статья лихо, с юмором, иронии тут, грубо говоря, навалом. От всей поэзии Вознесенского автор камня на камне не оставляет. Но странное дело: когда дочитываешь статью до конца, чувствуешь, что твое отношение к поэту осталось прежним, а вот к критику по мере чтения изменилось и не в его пользу.

Главная мысль статьи Вигилянского: все пишут о таланте Андрея Вознесенского, а вот ему, читателю-критику, найти этот талант никак не удается.

«Многое в нем (в поэте), правда, мне непонятно,— иронически замечает Вигилянский,— но это — ничего,— я же знаю, что «художественный образ его зачастую, как айсберг, пять шестых поэтической силы скрывает в темной глубине недосказанности».

И даже таланта Шерлока Холмса не хватит на то, чтобы отыскать эти пять шестых».

Насчет Шерлока Холмса сказано совсем остроумно, но не совсем к месту: знаменитый сыщик поэтического таланта не отыскивал — он понимал, что для этого требуется другая квалификация.

Как же ищет литстудент Вигилянский эти недостающие пять шестых таланта поэта?

Он выписывает сплошь, подряд (по тому же методу, каким цитировал своих оппонентов) неологизмы Вознесенского, вульгаризмы, иностранные слова, научно-технические слова, «великие имена» и просто цифры: например, «1945, 3 000 душ, 43°, 30 метров...» и т. д. Выписав добросовестно целую колонку «числительных», он восклицает: «Вот они, вот они наконец наши дорогие пять шестых».

Не знаю, на каком курсе учится студент Литинститута: если на первом, то ему еще предстоит узнать, что таким «наборно-перечислительным» способом поэтические произведения разбирать нельзя. Если он уже выпускник, то пусть постарается припомнить, что говорилось по этому поводу на теоретических занятиях и практических семинарах.

Один из самых суровых упреков, которые он предъявляет поэту,— у А. Вознесенского слишком много повторов. Вначале, мол, поэт пользовался ими осторожно, но, как говорится, дальше — больше. «Слова и выражения,— негодует литкритик,— уже повторяются по семь раз (выражение «Гонконг, гоу хоум»), по девять раз (выражение «развяжи мне язык»), по одиннадцать («я тебя люблю»), двенадцать (слова «Мир» и «испытатели»), тринадцать («по болотам»), восемнадцать («нет»), девятнадцать («грипп») и т. д. И все это, уточняю, не во всех стихах сразу, а в каждом стихотворении в отдельности».

Действительно, просто ужас какой-то! «Я тебя люблю» — в одном произведении 11 (одиннадцать) раз. Ну, употреби это слово 2—3 раза, от силы 5—6, как отдать 7—8, но одиннадцать—ни в какую, ни за что. Вигилянский категорически против.

Не собираюсь сопоставлять критикуемого поэта с классиками, а просто хочу посоветовать Владимиру проделать такое упражнение: подсчитать, сколько раз употребляется слово «сад» в поэме Блока «Соловьиный сад», сколько раз—«хорошо» в поэме Маяковского «Хорошо!» и т. д. и т. п.

У Чехова в записной книжке есть заметка: «Когда я перестал пить чай с калачом, то говорю: аппетита нет! Когда же перестал читать стихи или романы, то говорю: не то, не то!»

Вот еще несколько чеховских записей — на ту же тему.

«N всю жизнь писал известным певцам, актерам, писателям ругательные письма: «Ты думаешь, подлец...» и т. д.— без подписи».

Обывательский голос:

«Что? Писатель? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем?»

«Решительно обо всем: что ж тут хорошего! Тут ничего нет хорошего!»

Как зарок самому себе:

«Боже, не позволяй мне осуждать, или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю».

И еще одна чеховская заметка: «Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».

Есть у нас разновидность читателя, зрителя, слушателя, который бравирует своим непониманием и, подобно чеховским персонажам, непрерывно восклицает: «Не то, не то! Тут ничего нет хорошего!»

Вспоминается девушка, которая говорила, пожимая плечами:

— Ну, что Светлов? Знаменитая «Гренада» начинается: «Мы ехали шагом, мы мчались в боях...» Так что ж, в конце концов,— ехали или мчались?

Помню другой отзыв — о строке Маяковского: «По длинному фронту купе и кают...». Как это вдруг смешались суша и море?

Что уж тогда сказать о лермонтовском «Парусе»: «В тумане моря голубом», «ветер свищет», «луч солнца золотой...» Туман, буря, солнце — любой синоптик запутается: неразбериха.

И только огромным усилием воли я отказываюсь от примера с косматой львицей.

Аркадий Райкин рассказывал, как один художник, глядя впервые на Сикстинскую мадонну Рафаэля, вдруг заявил:

— А знаете, вот не производит она на меня никакого впечатления.

И стоявшая рядом Ф. Г. Раневская заметила:

— Она уже столько веков производит впечатление, что может выбирать: на кого ей производить, а на кого — нет.

Каким бы ни был поэт — древним или новым, маститым или молодым,— не надо смотреть на его стихи взглядом придирчивого товароведа, ищущего брак.

Вспомним слова Твардовского, автора «Василия Теркина», сказавшего о своей книге:

Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки,—
Горе, если не найдет.

Лариса Должикова (Москва) пишет о книге стихов Д. Самойлова «Волна и камень» — о главах из поэмы «Последние каникулы», завершающей сборник. Особенно ей не понравилась глава «Смерть лося».

«Сначала,— говорит она,— еще можно что-то понять: какой-то охотник, видать, браконьер, подстрелил лося. Но дальше!

...Лось-куст и лось-туман,
Лось-дерево, лось-темень,
Лось-зверь, и лось-растенье,
И лось-самообман...

Пыталась я сначала над всем этим ломать голову, связывала «куст» со «зверем», а «туман» — с «самообманом», но потом подумала: стоит ли? К чему? Здесь ведь такого наворочено, что сам, простите, черт ногу сломит, где уж мне!»

«Последние каникулы» — странная, фантастическая поэма. Придраться к ней легко. Автор рассказывает, как он отправился путешествовать с Витом Ствошем, польским скульптором, который жил пять веков назад. Знаменит Вит Ствош резным алтарем костела в Кракове.

Помню, как наша туристская группа застыла перед деревянными фигурами алтаря. Мы стояли неподвижно и в эту минуту, наверно, тоже напоминали деревянные фигуры. А те фигуры, изваянные, стояли как живые.

Старая женщина-гид говорила о Вите Ствоше, о судьбе алтаря — одного из чудес света: фашисты увезли его во время войны, затем его долго разыскивали, нашли в одном из подвалов Нюрнберга и возвратили на свое место — в Краков, в Мариацкий костел.

«Презрев времена», поэт отправляется со старинным мастером в дальний путь — они идут в преславный город Нюрнберг. В красноватом свете костра появляется черный лось.

Роскошный рог над ним
Стоял, как мощный дым.

На фоне черно-чистого неба рог светится ветвистым созвездием. И мастер сокрушается, что не изваял этого «беззащитно-сильного» зверя за плечом Марии. Но гремит выстрел, лось рухнул, его рога в черной траве, как «папоротник черный».

Охотник радуется: «бык» пудов на пятнадцать мяса.

Он сел и закурил...
. . . .
Для нас погибель зверя —
Начальная потеря,
Начало всех мерил.

— Скажи мне, мастер Вит!
Как при таком мериле
Плечо святой Марии
Кого-то заслонит!

Нам с Витом не спалось,
И мы лесною тропкой
Пошли. И тенью робкой
Плыл перед нами лось.

Лось-куст и лось-туман,
Лось-дерево, лось-темень,
Лось-зверь, и лось-растенье,
И лось-самообман...

Бывает так: стихи кажутся непонятными, и вдруг, как тут — «лось-куст» и «лось-туман» свяжутся воедино, и уже перед нами плывет образ, переливаясь разными значениями. Здесь это тень, укор, напоминание об убитой красоте; образ сливается с картиной ночного леса, неясного предутреннего тумана.

В письмах читателей о стихах часто повторяется такой оборот: «Я не понял — зачем напечатали?» То есть если я не разобрался, это уже и не существует и существовать не должно.

А вот совсем другое письмо. Читательница Л. Г. критикует Юнну Мориц за стихотворение «Золотые дни». Но в конце письма замечает: «Не думаю, что если я не приняла эти стихи, то их и писать и печатать не надо».

Это хорошо, когда ценитель стихов — и читатель и критик—не считает себя самой последней инстанцией.

Ученица 10-го класса Надежда Жеребятникова хвалит в своем письме стихи Льва Кoськова и подборку Валентина Сорокина в 10-м номере «Юности» за 1975 год. Пишет о себе. Любит стихи. Ей 17 лет.

Тут я взял карандаш и стал считать. Значит, родилась Надежда в 1958 году. Что же получается? Когда появилась поэма Андрея Вознесенского «Мастера», ей был один год. Стало быть, имена Вознесенского, Окуджавы — для нее уже что-то старомодное? А Д. Самойлов или М. Львов совсем нечто вроде Державина и Хераскова?

Один старый чтец с обидой рассказывает: «Иду я по площади Маяковского. У памятника поэта — небольшая группа юношей и девушек. Читают друг другу стихи. Я подошел к ним растроганный, говорю: как это замечательно, а вы знаете, я ведь видел живого Маяковского! Удивились. Я стал делиться воспоминаниями, увлекся, и тут одна девочка, маленького такого росточка, вдруг восклицает: «Ой, как интересно! Дяденька, а вы с Некрасовым были знакомы?» Я рассердился, плюнул и ушел»...

Время идет, читатели и критики, радуясь тому, что есть, ждут новых, завтрашних поэтов. Добро пожаловать!

Откажемся от каких бы то ни было пророчеств и прогнозов. Как говорят осторожные спортивные обозреватели: пусть победит сильнейший.

Заметим только: чем уважительнее будет наше отношение к стихам, к трудному ремеслу поэта, чем свободнее будет атмосфера от мрачной предвзятости и подозрительности, от раздраженных выкриков «Не то, не то!», тем скорее можно ждать появления новых талантов.

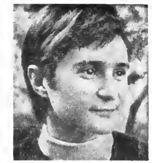
Прав поэт Лев Озеров:

Не упиваясь словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать —
Бездарности пробьются сами.

З. ПАПЕРНЫЙ

Инна Кашежева





✪

Уехать куда-нибудь в глушь,
где, как в детской сказке, красиво,
и речки серебряный уж
в стога уползает лениво.

Все это, наверное, блажь.
Собрать бы нехитрый багаж
и — в Тмутаракань без возврата.

Навеки.
До смерти.
Была ж
подобная область когда-то.

Все это, наверное, миг.
А мир нереально велик —
лишь только шагни от порога.

Недаром от книжных вериг
меня и собратьев моих
уводит любая дорога.

Углич

Мы приехали в полночь,
Летом пахло от улиц.
Волга сжала, как обруч,
берега твои, Углич.

Опрокинуты навзничь
фонари у причала,
их как будто бы на ночь
рябь воды укачала.

Этой первою ночью
после долгой дороги
молодые мы очень
от любви и от Волги.

Мы сбежали по сходням.
Наконец мы у цели,
наконец мы посмотрим,
Углич, все твои церкви.

В храме, строгом и сонном,
где безмолвствует каждый,
«ссыльный» колокол все нам
безъязыко расскажет.

Повторит слово в слово
от сказаний до писем
времена Годунова,
словно пушкинский Пимен.

Чем сейчас ты украшен,—
незнакомые, в общем,—
угличане укажут
с круглым оканьем волжским.

Полусон, полуправда...
Расставания горечь...
Только это все — завтра,
а пока еще — полночь.

✪

Мне
не хватало крыльев,
бесстрашия и сил,
когда
Кайсын Кулиев
летать меня учил.

Быть может,
так не учат,
как он учил тогда:
взмывал,
врезаясь в тучи,
и звал меня туда.

И, как пролог к полету,
он повторял одно:
— В хорошую погоду
летать немудрено.

И, улыбаясь странно,
твердил учитель мой:
— Взлети-ка
выше страха,
выше себя самой.

Не подражай мне слепо,
лети своим путем.
А падать —
так уж с неба,
чтоб не жалеть потом!

Чтоб не смотреть подолгу
на небо
за окно...
В хорошую погоду
летать немудрено.

Лечу,
не подражая
размаху четких строк,
но честно продолжая
его крутой виток.



«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»

Восемь лет спустя после полета первого человека в космос американский астронавт Нейл Армстронг, первым из землян ступивший на Луну, сказал: «Он нас всех позвал туда». Он — это Юрий Алексеевич Гагарин, «Космонавт № 1», пятнадцатилетие подвига которого в апреле будет отмечать весь мир.

Автору печатаемых нами заметок Виктору Порохне посчастливилось не только учиться и жить вместе с первым космонавтом, но и наблюдать, как росло и крепло у молодого Гагарина желание связать свою судьбу с авиацией, с космосом.

Виктор Сидорович Порохня в 1951—1955 годах учился вместе с Юрием Алексеевичем Гагариным в Саратовском индустриальном техникуме. Затем он работал в Казахстане и на Украине окончил институт, аспирантуру. Сейчас В. С. Порохня — доцент Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе. Его дружба с Ю. А. Гагариным не прерывалась и в последующее время, вплоть до 1968 года.

Встречи с Ю. Гагариным, другими космонавтами, поездки на космодром, наблюдения во время запусков космических ракет дали Виктору Сидоровичу Порохне богатый материал для книги «Дорога на Байконур», которая вскоре выйдет в издательстве «Казахстан».

В прошлом, 1975 году, будучи в Москве с группой школьников, ко мне зашла Анна Павловна Акулова, которая на протяжении всех четырех лет моей учебы в Саратовском индустриальном техникуме была нашим классным руководителем. Невзирая на свой преклонный возраст, она осталась все такой же стройной, сильной духом, общительной и любознательной.

Незаметно пролетел вечер. А мы с Анной Павловной, рассматривая содержимое семейных фотоальбомов, все вспоминали Саратов, группу и, конечно же, Юру Гагарина. Наибольший интерес у нее вызвали две фотографии. Когда она их увидела, тут же сказала:

— Узнаю шаловливое племя. Видно, многого я не знала о вас, когда вы были моими подопечными. Ну-ка, выкладывайте, что это за шутки.

На снимке: Юрий Гагарин — студент техникума.



«Я им сделал «рожки»... Снимок, публикуемый впервые, выполнен Гагариным.

Из архива автора.

Пришлось восстановить в памяти события июня 1952 года. Успешно завершена экзаменационная сессия. Первый курс позади. «Проскочили» все, даже математику. Ее вела сама Анна Павловна, суровый экзаменационный почерк которой мы сполна ощутили еще в первом семестре. Сегодня вечером всей группой идем на Волгу. А завтра!.. Ох, как долго мы ждали этого завтра. Завтра каникулы. Целых два месяца будем свободны от всех «пут» техникумовского бытия. А тут еще вдобавок — чудная летняя саратовская пора. Ну как не радоваться всему этому, как не подурачиться. Все это и нашло свое отражение на двух фотокарточках.

Когда Юра вышел на крыльцо общежития, чтобы сфотографировать ставших на подоконник нашей комнаты ребят, я им сделал «рожки». Этот момент попал в первый кадр. Затем я выскочил во двор, просунул голову у Юры меж ног и стал его поднимать. Эта поза «запечатлена» вторым кадром, сделанным Николаем Тезиковым. Глядя на эти фотографии, по довольным, веселым лицам Анна Павловна поняла наше состояние в тот день...

Подошла вызванная машина. Анна Павловна уехала к своим подопечным. А я все не мог уснуть. Память ворошила странцы прошлого, в котором волей обстоятельств мне пришлось повстречаться, жить, учиться и дружить с человеком, чье имя стало гордостью человечества,— с Юрием Алексеевичем Гагариным.

Вот как это было.

В тяжелые послевоенные годы детям семей, которые потеряли отцов, жилось особенно нелегко. Многие пошли работать в 12—13 лет. Такая же участь постигла и меня. Если же у кого тяга к знаниям была большой, спасение находили там, где обучали, одевали и питали бесплатно. А это прежде всего военные и ремесленные училища.

Получив в ремесленном училище специальность формовщика-литейщика 5-го разряда, я, как отличник учебы, был направлен в Саратовский индустриальный техникум трудовых резервов. Здесь 11 августа 1951 года я впервые повстречался с моим сверстником из Люберецкого РУ Московской области Юрой Гагариным.

В Саратове всех прибывших для поступления в техникум поселили в общежитие. Это был красного кирпича старый двухэтажный дом в центре города на улице Мичурина. Жили мы в первом этаже, а наверху помещался спортивный зал. По тем временам это было добротное здание с красивыми чугунными колоннами. Колонны были отлиты нашими коллегами — учащимися Александровского ремесленного училища, одного из первых в Поволжье. Сейчас это здание снесено, и на его месте построено современное девятиэтажное общежитие техникума. И если нам пришлось четыре года жить всей группой в 13 человек в одной комнате, то в новом общежитии студенты живут по два-три человека вместе.

Когда из выдержавших приемные экзамены абитуриентов создали учебную группу литейщиков, в нее без испытаний были зачислены как отличники учебы в школе и училище три неразлучных — как мы их называли — москвича: Юрий Гагарин, Тимофей Чугунов и Александр Петушков. Эти ребята должны были сдать вместе с нами только квалификационную пробу по литейному делу. По заказу городского коммунального хозяйства и для нужд техникума мы изготовляли решетки заборов. Новички сами в литейной мастерской техникума готовили формовочную смесь, плавили в вагранке чугун, заливали его в формы, выбивали и вчерне обрабатывали готовые решетки. Заказ был успешно выполнен, и мы потом часто с гордостью проходили мимо парков города, набережной Волги и своего общежития, которое тоже обнесли чугунной оградой, сделанной нами.

В группу литейщиков зачислили 35 человек. По ходу учебы одни не выдержали сурового техникумовского распорядка, другие — тяжелой учебной нагрузки, третьи были призваны в армию. Поэтому группа очень быстро таяла, и вскоре в ней осталось всего 13 человек. К этому времени все мы переселились в одну комнату.

В нашей группе Гагарин, я и Женя Стешин, сталинградец, пробывший все годы войны в своем городе, были самыми юными — каждому по семнадцать лет. Многие наши старшие товарищи прошли суровую школу жизни — войну, работу на полуразрушенных предприятиях. Некоторые из них были женаты, имели детей. Учеба им давалась очень тяжело. Но они настойчиво занимались. Нам же, молодым, после невеселого военного детства иногда хотелось покуражиться. Порой все казалось нипочем. Увлекшись в начале учебного года спортом, я забросил занятия и нахватал несколько двоек по математике. Положение стало критическим, грозило исключение. И тут мне на помощь пришел Юра.

Хорошо знавший математику, он стал регулярно заниматься со мной, часто мы засиживались далеко

за полночь. Вместе со мной он готовил уроки вслух. После того, как теорема была несколько раз прочитана, он закрывал книгу и говорил:

— Теперь извлекай теорему из своего серого вещества. В учебник не подглядывать!

После повторения задачу мы решали врозь, а коррективы вносил Юра, как заправский учитель. И какая для нас обоих была радость, когда все экзамены первой сессии я сдал успешно.

Во втором семестре наш курс завязал дружеские отношения со студентами пединститута, учебный корпус которого стоял напротив нашего общежития. Студенты-филологи создали у нас кружок художественного слова. Юрий был одним из первых его участников. Он очень любил стихи Пушкина и Некрасова.

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье...

Эти чеканные пушкинские строки Гагарин громко декламировал нам по вечерам.

Время летело очень быстро. Уезжая на каникулы, мы с Юрием увозили с собой награды «за отличные успехи и примерное поведение» — похвальные листы. Товарищеская помощь Гагарина позволила мне из отстающего стать отличником.

За лето все мы соскучились по нашей дружной студенческой семье. Приехав в необжитые холодные комнаты общежития, устроили в честь встречи пир из домашних припасов. И всю ночь напролет говорили — вспоминали детство, мечтали вслух о будущем. Уже тогда Юра с увлечением говорил о небе, о своем желании стать летчиком. Ему нравилась форма, выправка, дисциплина летчиков, скорость и высота полета самолетов. Узнав о моей неудачной попытке поступить в спецшколу ВВС, он убежденно сказал:

— Наше все еще впереди.

И действительно, в декабре 1952 года мы с ним стали слушателями отделения пилотов учебного центра. Но недолго длилось первое наше знакомство с авиацией.

Тем временем продолжались занятия на втором курсе. Появились новые дисциплины, преподаватель физики Николай Иванович Москвин организовал физический кружок. В основном в него вошли ребята нашей группы. Обстановка в кружке была творческая. Николай Иванович рассказывал нам о многих интересных открытиях, об ученых, давших миру изобретения, которые прославили их на века.

Всех кружковцев потряс рассказ Москвина о революционере-народнике Николае Кибальчиче. Изготовленной им бомбой в 1881 году был убит царь Александр II. Ожидая исполнения приговора, Кибальчич в камере Петропавловской крепости начертил схему реактивного летательного аппарата. Это было гениальным предвидением молодого ученого.

По многим вопросам в кружке зачастую вспыхивали споры. Особенно яростные дебаты разгорались у Москвина с Юрием. Юра, чтобы доказать свою правоту, переворачивал сотни страниц научных книг, ставил опыты в пределах возможностей нашего кабинета физики. Конечно, в основном правым оказывался Николай Иванович, но ему нравились любознательность, целеустремленность, упорство Гагарина, которые проявлялись в этих спорах. И поэтому именно Юрия Москвин рекомендовал избрать старостой нашего кружка. Вскоре кружок отчитывался о своей работе. На общетехникумовском вечере физики в актовом зале перед большой аудиторией своих товарищей и студентов физико-математического факультета педагогического института Юрий сделал доклад на тему «К. Э. Циолковский и его учение о реактивных двигателях и межпланетных путешествиях».

Мы много читали, особенно советских писателей — Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Александра Фадеева. Преподаватель литературы и русского языка Нина Васильевна Рузанова, видя нашу тягу к книгам, организовала литературный кружок. Была у нее и другая цель — научить нас правильно, красиво и точно говорить, так как речь многих ребят была засорена. В кружке устраивались широкие обсуждения прочитанных книг. Первый диспут был посвящен подвигу Алексея Маресьева. Интересными были выступления Жени Стешина и Юрия Гагарина.

— Я любил Овода,— говорил Юрий,— но Маресьева полюбил сильнее. Он мой современник, мой учитель, живет вместе с нами на одной земле, и мне хочется встретиться с ним, пожать его мужественную руку.

Закрывая диспут, Нина Васильевна сказала:

— Я убеждена, что среди вас есть новые Маресьевы, люди высокого сознания, долга и несгибаемого мужества.

Как неожиданно точно осуществились эти слова! Наш товарищ, наш Юра стал Колумбом XX века.



«Затем я стал поднимать Юру». Снимок, публикуемый впервые, сделан Н. Тезиковым.

Из архива автора.



СИТовцы на прогулке. Первый слева — Ю. Гагарин.
Фото автора.

И когда однажды в Москве космонавт Юрий Алексеевич Гагарин встретился с Маресьевым, он смог выполнить свою заветную мечту — пожать своему учителю руку.

Большое место в нашей студенческой жизни занимал спорт. Юра Гагарин все свободное время посвящал баскетболу. Несмотря на невысокий рост, он был отличным игроком. Ребята из других команд изрядно трудились, «опекая» его. Техникумовские баскетболисты были бессменными чемпионами среди команд средних специальных учебных заведений Саратова. Этот успех был и успехом Юрия как капитана команды. Очень скоро он стал первым помощником физрука техникума Геннадия Григорьевича Соколова, очень жизнелюбивого, деятельного человека. Как секретарь техникумовского совета ДСО «Трудовые резервы», Юрий принимал активное участие в организации и проведении различных соревнований. Сам он судил многие встречи по баскетболу и волейболу, всегда подключая к обслуживанию соревнований ребят нашей группы.

Женя Стешин был как бы правой рукой Юрия по баскетболу. Футбол оставался за мной. Спорт еще больше сблизил меня с Гагариным. Юрий все настойчивее вел разговор об авиации. Частые поездки на соревнования на спортивный комплекс «Нефтяник» здорово его возбуждали. Женя тоже заболел небом. Когда в наши зачетки были поставлены последние экзаменационные отметки за второй курс, мы узнали, что Краснокутское училище ГВФ производит набор курсантов. Ребята тут же делегировали меня туда. Однако второго посвящения в авиацию также не состоялось. В училище принимали только на базе десяти классов или при наличии техникумовского образования. Куда денешься? Надо учиться дальше. И мы начали штурмовать третий курс.

Хорошая к этому времени сложилась у нас группа. Это была веселая, дружная и трудолюбивая коммуна. Все ребята жили в одной комнате, вместе готовились к занятиям, вместе ходили в парк, в музеи, в театры.

Особенно мы любили парк «Липки». Он находился на полпути между техникумом и общежитием — в самом центре Саратова. В парке часто стихийно возникали горячие молодежные диспуты. О чем только не спорили саратовские студенты — и о героизме, и о новых фильмах, и о спорте, и о танцах, и, конечно же, о любви и дружбе. Мы всегда активно принимали участие в этих диспутах. Иногда, уже покинув «Липки», спор продолжали далеко за полночь в нашей комнате.

Как-то раз техникумовский профком закупил билеты в театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского. Среди обладателей билетов оказались и мы с Юрием. Впервые услышанная на подмостках Саратовского театра опера открыла перед нами новый, неведомый и прекрасный мир музыки. Мы были увлечены драматической ситуацией «Русалки». Музыка Даргомыжского, впечатляющие сцены на берегу реки и у старой мельницы, богатые декорации — все это надолго осталось в нашей памяти. В тот вечер мы долго не могли уснуть, взволнованные большим искусством, вспоминали самые яркие сцены спектакля.

Наше увлечение театром и музыкой горячо поддержала не только преподаватель литературы Нина Васильевна, но и преподаватель математики Анна Павловна Акулова.

Анна Павловна, как уже говорилось выше, была нашим классным руководителем. На первом курсе, когда полгруппы носило за плечами изрядный багаж двоек по математике, мы ее считали сухой, замкнутой, «вредной». Но когда дела поправились и математические знания начали помогать нам осваивать другие технические дисциплины, суровые требования Анны Павловны нам уже стали просто необходимы. На протяжении последних трех курсов группа была успевающей и положительно отмечалась на всех общетехникумовских собраниях.

У Юры с Анной Павловной сложились очень хорошие отношения. Она ему как взрослому доверяла решение многих серьезных вопросов, а он делал все возможное, чтобы оправдать это доверие.

Вспоминаю один интересный случай. Как-то раз наша группа коллективно отправилась в театр драмы имени К. Маркса на спектакль «Девушка с кувшином». Зная, что муж Анны Павловны — офицер, преподаватель суворовского училища — в этот вечер дежурит, мы и ее пригласили в театр.

Вечер прошел чудесно. Пьеса понравилась. Зато утро следующего дня для некоторых из нас оказалось мрачноватым. На уроке математики Акулова стала вызывать к доске всех театралов. Это было для нас полной неожиданностью, так как из-за культпохода за учебники никто не брался. Естественно, посыпались двойки. Последним к доске вызвали Гагарина. Ну, думаем, и Юра влип. Но не тут-то было. Он спокойно взял мел и подробно вывел формулы логарифмов корня и степени. Доказательства были точны и обоснованны. Юра получил «отлично», а нам стало ясно, что он серьезно, по-настоящему, невзирая ни на какие отвлекающие обстоятельства, готовился к занятиям.

Я уже говорил, что в группе часто заходили разговоры о будущем. Нашим «старикам» было легче, чем нам троим. Почти все они отслужили положенный срок в армии. Наша же перспектива после окончания учебы — служба в Вооруженных Силах. Юра все более склонялся к тому, что она должна начаться в авиации. Женя и я были его единомышленниками. Ребята в группе посмеивались над нами, но в общем-то поощряли наши авиационные порывы. Но пока до авиации дело не дошло, наша сту-

денческая жизнь шла своим чередом. Как-то студент нашей группы Василий Тверитин купил баян. Пришел в комнату с покупкой. Рот до ушей. Юра и я тут же начали демонстрировать свое музыкальное «искусство». Не очень-то у нас здорово получалось, хотя еще до техникума Гагарин играл в духовом, а я в оркестре народных инструментов. Баянистов из нас так и не получилось. Тем не менее до сих пор у меня дома лежит баян. И когда я беру его в руки, всегда вспоминаю нашу дружную студенческую коммуну.

В городском Доме культуры трудовых резервов был хороший хор. Юрий, Женя и я пели в нем. Потом Стешин «переключился» на художественное чтение, и декламатор из него получился хороший. Я, кроме хора, занимался в сольной группе техникума. Аккомпаниатором у нас была студентка консерватории Галя Возьмилова — очень милая, скромная девушка. Многие ребята, глядя на нее, вздыхали тайком. Нередко слушателем наших репетиций был и Юра. Галя Возьмилова стала нашим другом. Мы с увлечением слушали ее интересные рассказы о великих композиторах и музыкантах. Она учила нас понимать музыку. Часто Галя садилась за пианино в клубе техникума, и мелодии Шопена, Чайковского, Рахманинова звучали в зале. Иногда мы выступали с концертами. На одном из них Петр Федоров и я спели дуэтом «Нелюдимо наше море». Юра на этот концерт опоздал и застал только часть исполнения. Когда же я вернулся в общежитие, он, стоя на кровати и дирижируя хоккейной клюшкой, заставил меня вновь спеть понравившуюся ему песню.

Несколько ребят в группе, в том числе и Юра, занимались фотоделом. В условиях общежития это было не так-то просто. Если под одеялом можно было зарядить пленкой аппарат, то с ее обработкой и получением снимков таким образом уже не обойдешься.

Выручил случай. Василию Тверитину, как одному из самых заядлых фотолюбителей техникума, доверили фотолабораторию — очень маленькую темную комнату в главном учебном корпусе. Приобретя таким образом «монополию» на нее, мы значительно расширили сферу своего влияния. В поле нашего зрения попало женское общежитие. В него только-только поселились выпускницы Минского РУ. Девушки с удовольствием фотографировались в живописных местах Саратова, так что без нашего участия не проходили ни прогулки, ни праздники молодых работниц. Это поддерживало наш фотографический пыл, и сегодня, рассматривая фотографии тех лет, я сам удивляюсь, как любительские снимки запечатлели многие шаги нашей студенческой жизни.

Вскоре Гагарина избрали членом бюро техникумовского комитета комсомола. Здесь он сполна проявил свои организаторские способности. Это Юра и физрук техникума Г. Г. Соколов поддержали и осуществили идею внука легендарного героя — нашего однокурсника В. М. Чапаева о лыжном походе по боевым местам гражданской войны.

Юра вместе с другими комсомольскими активистами был также организатором встречи студентов техникума с обучающимися в вузах Саратова юношами и девушками из братских социалистических стран. Это был интересный и веселый вечер интернациональной дружбы. Гагарин на нем со всеми находил общий язык. Его находчивость и обаятельная улыбка очаровали наших друзей. Потом, семь лет спустя, эта улыбка стала знакома всему миру...

Окончив третий курс, ребята разъезжались на последние каникулы. Никуда не уезжал лишь один Гагарин. На все лето он пошел работать физруком в детдомовский пионерский лагерь, чтобы поправить свои материальные дела. Надо сказать, что студенты нашего техникума обеспечивались бесплатным обмундированием и питанием. При положительных оценках нам выдавалась на хозяйственные и культурные расходы стипендия в размере 50 рублей на первом курсе и 100 рублей на четвертом — 5 и 10 рублей в новом масштабе цен. Поначалу нам этого было достаточно. Со временем запросы увеличились. Уже хотелось пойти с девушкой в кино, театр, купить часы, приобрести гражданский костюм. Иногда, чтобы иметь деньги на эти нужды, мы с





Верхний снимок: во дворе техникума. На переднем плане А. Медведев, В. Порохня, Ю. Гагарин.

Нижний снимок: мы с Юрой пишем контрольную по сопромату. Снимки публикуются впервые.

Из архива автора.

группой ходили на пристань разгружать цемент и другие грузы с барж. Работали ночью, а утром шли на занятия. На заработанные деньги каждый покупал то, что считал необходимым. Но когда кому-либо из нас надо было «выйти в люди», вся группа одевала молодца так, что потом сама любовалась его видом. Кое-кому помогали родители. У родителей Гагарина в Гжатске была немалая семья. Поэтому, оберегая отца и мать от излишних расходов, он финансовые вопросы решал самостоятельно, считая двадцатилетний возраст вполне достаточным для этого.

Время работы в пионерлагере прошло быстро. Юрий оттуда вернулся загорелым, веселым, полным сил. Долго нам рассказывал о первых шагах на педагогическом поприще. Потом организовал встречу со студентами педучилища, третьекурсница которого Таня Андреева работала вместе с ним в пионерлагере. Мы начали приглашать будущих педагогов на свои вечера.

Так начался наш последний, четвертый курс техникума.

Гагарин, Стешин и я знали, что это будет рубеж, который позволит нам переступить порог аэроклуба или летного училища.

9 октября 1954 года на общетехникумовском собрании Юрию, мне и другим студентам вручили похвальные листы за отличные успехи и примерное поведение на третьем курсе. А через семнадцать дней, 26 октября 1954 года, приказом № 82 мы были зачислены курсантами отделения пилотов Саратовского аэроклуба ДОСААФ. Четвертым из тринадцати, числящихся в приказе, был Ю. А. Гагарин.

В своей книге «Дорога в космос» он так говорит об этом: «Чувство, обуревавшее меня, волновало также и Виктора Порохню и Женю Стешина — тоже студентов нашего техникума. Как-то прибегает Виктор и возбужденно кричит:

— Ребята, отличная новость! В аэроклуб принимают четверокурсников техникумов...

В тот же вечер втроем мы отправились в аэроклуб. Мы подали заявления, прошли все комиссии и начали заниматься».

Потянулись трудные дни. С утра мы занимались в техникуме, потом бежали на спортивные тренировки, а вечером шли в аэроклуб. В это же время нам предстояло выполнить курсовые проекты. Над их чертежами мы иногда засиживались до трех-четырех часов утра. Что и говорить, нагрузка у нас тогда была большая.

Невзирая ни на какие трудности, мы и в аэроклубе продолжали заниматься. Нам быстрее хотелось в небо. Но дорога туда оказалась куда длиннее, чем мы себе представляли.

В своем рассказе «Вижу Землю...» Гагарин пишет: «Признаться, мы с друзьями — Витей Порохней и Женей Стешиным — думали, что пройдет какая-нибудь неделя-другая, и мы начнем летать. Оказалось, что все не так просто...»

После сдачи зимней сессии всю нашу группу отправили в Ленинград на преддипломную педагогическую практику. Каждому из нас надлежало проводить в роли мастера производственного обучения практические занятия с группами формовщиков-литейщиков училищ города. Эти занятия, как правило, проходили в литейных цехах базовых предприятий. Я был направлен в ремесленное училище № 12 и всю практику с группой провел в литейном цехе знаменитого Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.

Юрий с закрепленной за ним группой проходил практику на заводе «Вулкан». Жили мы в Ленинграде в разных местах. Поэтому, вернувшись в Саратов, долго рассказывали друг другу о том, что каждый увидел в своем районе этого замечательного города.

Поездка в Ленинград надолго оторвала нас от аэроклубовских занятий. Поэтому при возвращении в Саратов некоторым ребятам стало просто не под силу догонять ушедших вперед аэроклубников, и одновременно готовиться к защите дипломного проекта. Юрий аэроклуба не оставил. Этот трехжильный человек и здесь показал недюжинную силу своего характера. В самое трудное и ответственное для студента время его, как и прежде, можно было видеть и на баскетбольной площадке, и на заседании комитета комсомола, и готовившего за кульманом чертежи проекта, и бегущего вечером на занятия в аэроклуб. И, как прежде, Юра при необходимости приходил в трудную минуту на помощь товарищу. Вот тому пример.

С 26 апреля по 10 мая 1955 года я находился за пределами города на соревнованиях по футболу. В поездке я делал расчеты проекта, но, естественно, не так интенсивно, как группа, оставшаяся в Саратове. Вернулся, а 19 мая уже надо было представить определенный объем работы консультанту. И снова, как и на первом курсе, на помощь пришел Юра.

Наши с ним дипломные задания отличались лишь емкостью выпуска цехом годного литья и разницей в деталях, на которые мы составляли технологию изготовления. Когда Юра рассказал ход расчета и показал уже готовые отдельные чертежи узлов, мне намного легче стало провести расчет и выполнить чертежи по своему заданию.

Помогая друг другу, вся группа в срок закончила работу. Перед защитой у нас было несколько свободных дней. Чувство скорого расставания с ребятами, с техникумом, с милым нашим Саратовом нагоняло грусть. За эти дни мы все вместе побывали в любимых уголках города, в парке «Липки», на берегу Волги.

23 июня 1955 года группа Л-41 в составе пятнадцати человек предстала перед Государственной комиссией. Один за другим отчитывались выпускники знаниями, полученными за четыре года. Знания эти оказались весьма прочными: шесть человек получили диплом с отличием. В их числе и Юрий Гагарин.

На следующий день вся группа вместе с преподавателями отправилась на Казачий остров, где состоялась наша прощальная встреча. Здесь вчерашние наставники впервые назвали нас коллегами. Это был добрый, задушевный дружеский разговор. Каждый в последний раз делился с друзьями планами на будущее. В перспективе многим виделась работа и учеба в институте.

Один лишь Юра сказал, что в Томск не поедет, так как решил всю свою жизнь связать с авиацией.

25 июня мы расставались окончательно. Дипломированные молодые специалисты разъезжались по домам на месячный отдых, после которого каждого из нас ждала работа по месту назначения. Гагарин остался в Саратове завершить учебу в аэроклубе.

В этот день в последний раз в нашей комнате прозвучали слова любимой студенческой песни:

Прощай, наш Саратов —
Студенческий город,
Прощай, пароходов призывный гудок...
Прощайте, театры, дворцы, стадионы,
Прощайте, родные, подруги, друзья,
Мы вместе учились, мы крепко сдружились,
И старых друзей забывать нам нельзя.

Тоскливо прошел месяц отдыха. Сознание, что вряд ли еще когда-нибудь соберемся вместе, всей группой, наводило на грустные размышления. Судя по письмам, такое же настроение было и у других ребят. Пожалуй, лишь у Гагарина времени на грусть не оставалось, так как окончание аэроклуба в лагерных условиях захлестнуло его полностью. В письме он увлеченно рассказывал о своих самостоятельных полетах в разных условиях, о новых товарищах, сетовал на то, что мы с Женей Стешиным изменили мечте.

Вскоре я был призван в армию и зачислен в воздушно-десантные войска. Во время прохождения курса молодого бойца я получил от своей мамы присланное еще на гражданский адрес письмо Гагарина. Оно было уже из Чкалова. Из него я узнал, что Юрий — курсант Чкаловского авиационного училища и тоже находится в карантине.

Летом 1956 года, будучи несколько дней в Чкалове, я воочию увидел под голубыми курсантскими погонами Юру. Ладно сидел на нем техникумовский мундир, но армейская форма делала его еще подтянутее, стройнее. Он оставался все таким же веселым, жизнерадостным, великим оптимистом.

5—6 часов мы провели вместе. «А помнишь...» не сходило у нас с языка. Перебрали наиболее яркие эпизоды из совместно прожитых четырех студенческих лет, вспомнили педагогов, товарищей по техникуму, свои увлечения литейным делом, спортом, помянули добрым словом одновременно с нами окончившую Саратовский педагогический институт Инну Идабаеву — ныне учительницу одной из московских школ,— к которой в свое время мы оба были неравнодушны. Поделились впечатлениями и о своем новом положении. Я Юре рассказал о прыжках на ПД-47, о своих футбольных успехах. Он мне — о самой большой своей радости: по стечению обстоятельств Юру как успешно окончившего аэроклуб зачислили в группу не четырехгодичного, как всех молодых курсантов, а двухгодичного обучения. А это значит, что меньше чем через полтора года — самостоятельная армейская жизнь, к которой Гагарин стремился всем своим существом. В то же время Юра был огорчен тем, что до сих пор приходится летать на ЯК-18. В беседе мы неожиданно выяснили, что принимали воинскую присягу на верность Родине в один и тот же день — 8 января 1956 года...



Ю. Гагарин во время летних каникул.

Весной 1961 года мы с женой и товарищами из Павлодара, где в то время работали, отдыхали на берегу Черного моря, в Новом Афоне. В один из дней мы решили всей компанией детально познакомиться с интереснейшим архитектурным памятником — зданием дома отдыха «Псырцха». Осматривая его, мы слышали льющуюся из наружного динамика музыку. И вдруг вместо нее раздались торжественные левитановские слова:

— «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем сообщение ТАСС «О первом в мире полете человека в космическое пространство».

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич...»

Виктор ПОРОХНЯ













«А БЕЗ ПОЛЬЗЫ ЗАЧЕМ ЖИТЬ!»

Все без исключения главные герои повестей и рассказов Н. Евдокимова (Серафим Фролов, Анфиса в «Необходимом человеке», Нюрка, часовщик Степан в «Сказании о Нюрке — городской жительнице») поначалу слабы. Они скорее барахтаются на поверхности жизни, нежели живут, они плывут по ее течению, с извращенной какой-то жертвенностью отдаваясь ему: вот, мол, какие мы растакие, неустроенные...

С необычайной деликатностью, уважительным терпением прозаик описывает их нехитрое бытье-житье и тут же с ходу, в лоб, на первых же страницах своей итоговой книги избранного («Была война когда-то...» Повести и рассказы. «Советская Россия», 1975) задает нешуточный вопрос — себе, своим героям, да и нам, читателям, тоже. Настолько ли велики ресурсы человеческой личности, чтобы она могла преодолеть самое себя, выпрямиться, и начать новое свое, осмысленное уже от начала до конца существование? Н. Евдокимов сам же и отвечает всей книгой своей на этот вопрос: да, настолько!

Герои Н. Евдокимова ведут тотальный, я бы сказал, нарастающий изо дня в день поиск **своей пользы**, то есть смысла **своей жизни**. И писатель, наверное, не случайно записал на главные роли повествования «неуверенных» людей. Их начальная аморфность решительно перебарывается затем зарождающейся и все крепнущей уверенностью в себе и в своих силах и при этом с невиданной силой обнажает направление поиска своей пользы.

Н. Евдокимов утверждает: человек по природе своей не терпит неустроенности, неясности ни в себе самом, ни в окружающей его действительности. Человек по природе своей — деятель, реформатор, а нормальная форма, вернее, способ его существования — активная, целенаправленная, созидательная деятельность. Но прежде чем постигнуть эту нехитрую истину, герои Н. Евдокимова, самые что ни на есть рядовые люди, задумываются. Им хочется «знать первопричину всего», и они пытаются «разгадать загадку самостоятельным длительным размышлением». Задуматься — уже совершать поступок, и немалый.

«В чем она, истина человеческого поведения?.. Истина человеческого поведения — в отречении от себя, в неуслужении... себе самому» («Была похоронка»), «жизнь»-то один раз назначена» («На самом краю»), «исполнение долга — вот что такое порядочная жизнь» («Сказание о Нюрке...»).

Не сразу, не вдруг приходят герои Н. Евдокимова к подобным мыслям. Но когда приходят, то интересную и вполне, на мой взгляд, закономерную метаморфозу претерпевают они: слабый становится сильным, неуверенный в себе — уверенным. Обретение истины бытия в служении другим людям, в исполнении долга одаряет их тем, чего не знали они раньше: **мужеством и верою в себя.**

Вот почему книгу Н. Евдокимова я бы назвал весьма поучительной и полезной для молодежи. Посвященная по преимуществу описанию событий двадцатилетней давности, она необычайно современна уже самой постановкой своего **главного** вопроса: человеческая жизнь не может, не имеет права быть лишенной смысла. Только высокие цели и высокие идеалы наполняют ее глубоким содержанием, а поиск своего места в жизни вовсе не всегда оказывается прямолинейно-недолгим. С удовольствием повторю еще раз вслед за писателем: «Исполнение долга — вот что такое порядочная жизнь...»

Алексей ПРИЙМА

ИСКУССТВО ИСПОВЕДИ

Маро Маркарян («Прозрачные дни», «Сов. писатель», 1975) рассказывает о пережитом своей героиней доверчиво, смело и щедро. И хотя из стихов мы немного узнаем о фактах ее биографии, перед нами встает живой образ: «Всем улыбаюсь на ходу, кто мне знаком и незнаком. С ноги сбиваясь, я иду, как в полусне, как под хмельком». Да и нужно ли нам знать перипетии ее любви, если сказано главное: о том, как необходима ей любовь. Да и только ли ей? «Кроме тебя, жизнь мне дала все, что могла. А нужна была лишь затем, чтобы ты был».

Когда Маро Маркарян рисует пейзаж ее родной высокогорной красочной Армении, на него падает свет ее личности, придавая ему мягкость и интимность. И мы через стихи чувствуем, что среди этой величественной природы живут простые и сердечные люди труда. У окна глинобитной хибарки надломленная ветка шелковицы все еще цветет и дарит детям ягоды. Сквозь густой туман, окутавший и горы и селенье, слышен мирный и беззлобный лай собаки. С заоблачных гор спускается стадо коров. Они идут степенно и размеренно.

Идут задумчиво
и важно.
Их спины от росинок
влажны,
И клочья горных
облаков
На остриях крутых
рогов.
И добрый-добрый
взгляд у каждой.
(Перевод М. Петровых)



ВСТРЕЧИ

Вл. НИКОЛАЕВ

«КОНОТОП»

В «Книге скитаний» К. Паустовского в главе «Малый Конотоп» читаем: «Почти каждый день у Фраермана в его маленькой квартире на Большой Дмитровке собирались друзья: Аркадий Гайдар, Александр Роскин — знаток Чехова, писатель и пианист; молодой очеркист Михаил Лоскутов; редактор Детского издательства добрейший Ваня Халтурин и я.

Сборища эти Роскин неизвестно почему назвал «Конотопами».

Объяснить происхождение этого названия он надменно отказался, ссылаясь на то, что существовал же во времена Пушкина литературный кружок «Арзамас» и никто толком не знает, почему он был назван именем этого маленького и такого же захолустного, как и Конотоп, городка.

У каждого из нас были по этому поводу свои соображения. Но, пожалуй, самым проницательным оказался Гайдар. (Он вообще был чертовски проницателен и лукав.)

Одно время жена Фраермана Валентина Сергеевна угощала нас блинчатыми пирожками. А поскольку Конотоп славился ими и Роскин об этом знал, то поэтому он, по мнению Гайдара, и придумал такое странное название нашему содружеству.

От Р. И. Фраермана мне известна несколько иная версия, по которой название «Конотоп» придумано «чертовски проницательным и лукавым» А. Гайдаром, а мастерицей печь пирожки была не Валентина Сергеевна, а ее мать Екатерина Михайловна, что в данном случае совершенно несущественно. Кстати, сам Паустовский в другом месте о том же самом пишет по-иному: «Очевидно, по примеру пушкинского «Арзамаса» Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана «Конотопами». Впрочем, эти разночтения не имеют никакого значения и не будем выяснять, кто же первый сказал «з»...

«Собирались мы,— читаем в той же главе «Книги скитаний»,— почти каждый день, читали друг другу все вновь нами написанное, спорили, шумели, рассказывали всяческие истории, пили дешевое грузинское вино... Мы были как будто беспечны и веселы, очевидно, потому, что литературные планы не только переполняли нас, но и постепенно осуществлялись».

Паустовский довольно подробно рассказывает об одном из участников «Малого Конотопа» — об А. Роскине. Он аттестует его как отличного эссеиста, умевшего коротко, всего в одну-две страницы, писать «очерки о западных писателях». В частности, он пространнее других передает очерк А. Роскина о Флобере, который ему, Паустовскому, особенно запомнился. Затем останавливается на книге А. Роскина «Караваны, дороги, колосья», которая посвящена знаменитому советскому ботанику Вавилову, упоминает «превосходную биографическую книгу о Чехове» и статьи «о литературе, главным образом... о молодой советской прозе». Одна из статей А. Роскина была посвящена творчеству раннего Паустовского, и об этой статье Константин Георгиевич говорит с особенной признательностью:

«Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности впасть в книжную экзотику и нарядную «оперность» стиля. Он напечатал это предупреждение в одной из своих статей.

К счастью, эта статья совпала для меня со временем глубокого недовольства своими первыми («молодыми») рассказами, заставила уйти от литературных прикрас и стремиться к ясности и простоте. Вскоре Роскин первый — и так же по-дружески — приветствовал появление в печати «Кара-Бугаза» и «Мещорской стороны».

Пожалуй, здесь стоит напомнить читателю ту общую характеристику, что дает Паустовский, начиная свой особый разговор об А. Роскине.

«Он был человеком сложным и выдающимся,— замечает Константин Георгиевич,— как по обширности своих познаний, так и по острому и насмешливому уму... Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости и к необыкновенной нежности. Среди нас он считался самым взрослым, самым серьезным и требовательным ко всему, что бы мы ни написали. Нам он не давал спуску. Его статьи о писателях настолько отличались от сырой критической писанины того времени, что сразу выдвинули его в число лучших исследователей советской литературы, в ряды ее знатоков».

Позднее Р. И. Фраерман дополнит эту характеристику А. Роскина: «...он сам являлся перед нами, словно удивительное явление искусства. Невозможно забыть его внимательного взгляда, его лица с крупными, но мягкими чертами, его седую, чуть склоненную голову, когда он сидел за роялем, аккомпанируя себе и тихо напевая романсы Чайковского... Он умел и сердиться, и обижать друзей, и подолгу молчать. Тогда мы его боялись. Удирали на рыбную ловлю. Даже прятались в шкаф. Но больше всего от него доставалось ему самому. Ибо он был беспощаден в правде. Справедливость, правда и благородство жили в его душе...»

Здесь царил дух товарищества, глубокого уважения друг к другу и вместе с тем даже резкой беспощадности в споре. Необыкновенной добротой и мягкостью в этой шестерке отличался лишь хозяин дома Р. И. Фраерман. Ему единственному не свойственна была резкость и уж тем более беспощадность даже в самом жарком споре. Он покорял всех самым радушным расположением, как отмечали его товарищи, даже всепрощением. Именно эти особенности его характера отметил в своих шутливых стихах А. Гайдар, которые он, по свидетельству К. Г. Паустовского, «писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно». В стихотворении, посвященном Р. И. Фраерману, Константин Георгиевич выделяет следующие, как он подчеркивает, «совершенно точные строки»:

В небесах над всей вселенной,
Вечной жалостью томим,
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим.

Однако то, в чем Рувим Исаевич был убежден, он высказывал хотя и с неизменным доброжелательством, но и с определенностью, не допускавшей двояких толкований, говорил непреклонно и прямо. Своих мнений он, как правило, не менял, ибо они всегда были основательно продуманы, а вкус и чутье в соединении с богатейшим опытом его не подводили. Кстати, именно эти качества друзья по «Конотопу» высоко ценили и всем и к тихим, вдумчивым суждениям «всепрощающего Рувима» прислушивались с особенным вниманием и глубоким интересом.

Атмосфера добра царила в этом тесном писательском содружестве. Ведь и сам К. Г. Паустовский отличался по большей части мягкостью и незлобивостью характера. Ивана Халтурина он называет добрейшим. Не отличался резкостью, по свидетельству друзей, и Михаил Лоскутов, о котором мне от Р. И. Фраермана довелось слышать много лестного, не раз отмечавшего его поразительную наблюдательность, редкую точность письма. В беседе он был сдержан, даже порой молчалив, больше прислушивался к разговору друзей, но когда сам начинал рассказывать о Средней Азии, которую хорошо знал, то покорял всех. Аркадий Гайдар хотя и был, как дважды подчеркивает Паустовский, лукав, и отмечает его чертовскую проницательность и даже хитроватость, но тоже добротой не обделен.

Словом, все это были люди, способные понять друг друга, внимательно выслушать, поспешить на выручку, в любую минуту помочь товарищу.

Мне вспоминается рассказ Рувима Исаевича о том, как на «Малом Конотопе» слушали и обсуждали главу за главой рукопись книги А. Роскина о Вавилове. Чтение рукописи растянулось на долгий срок, потому что Роскин писал медленно, хотя и мечтал писать быстрее и больше, производил по этому поводу всякие подсчеты затрат времени и усилий, вызывавшие веселые улыбки друзей.

Чтение книги подходило к концу, она, по общему мнению, безусловно, получилась, и все с интересом ждали завершающей главы. Но чтение ее все откладывалось и откладывалось. Друзья требовали, настаивали, но автор переносил чтение с вечера на вечер. Наконец, его допекли, и А. Роскин признался, что завершающая книгу глава не получается; он измучился, работая над ней, но она не выходит. В признании этом было столько искренней боли и горечи, что оно не могло не тронуть друзей. На этот раз они не стали давать автору спасительных советов, не стали говорить утешительных слов, они сели, и каждый в отдельности начал писать свой вариант окончания книги. Кажется, К. Г. Паустовскому более других повезло найти приблизительно то, что нужно было автору, что наставило его на путь, который он так упорно искал и что, наконец, позволило ему в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к себе, закончить книгу.

Книга о Вавилове была издана и высоко оценена критикой. Но судьба ее складывалась в первое время трагически неудачно. Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях Фраерман:

«Я не помню, какой невежда из какой редакции, вернув ему рукопись, написал на ней, что все это бред, чепуха и никуда не годится, пусть лучше автор не занимается литературой.

Все это было сказано со всякими знаками и восклицания, и удивления, и с тем ужасным пренебрежением, с каким умеет говорить только глупость, когда она случайно получает возможность говорить об искусстве, уме и таланте.

Он взял свою рукопись и ушел. Он шел по улице, ничего не помня, громко разговаривая сам с собой...»

В «Конотопе» возмущались, утешали, добились издания книги. Но травма оказалась слишком глубока, чтобы можно было быстро оправиться. О тяжелых последствиях ее Рувим Исаевич свидетельствует:

«Он не принадлежал к тому молодому поколению, которое родилось и выросло вместе с Советской властью и смотрело на завоеванный мир, и счастье, и труд, как на свое собственное хозяйство, где нерадивому и глупому работнику следует просто ответить — выгнать вон. А он заплакал только, заволновался, затих почти на десять лет.

Должно быть, в эту пору он начал рано седеть...»

Р. И. Фраерман оставил коротенькие воспоминания о многих своих товарищах. Он многократно писал о Гайдаре и Паустовском, написал он и об М. П. Лоскутове. Если Гайдара и Паустовского любой читатель хорошо себе представляет, то о Лоскутове и Халтурине следует кое-что сообщить.

В своих воспоминаниях Фраерман отмечает, что Михаил Петрович Лоскутов в ту пору, о которой идет речь, был юношей «с синими глазами, пристально наблюдавшими мир и людей...».

Набрасывая творческий портрет этого — теперь тоже, как и Роскин, забытого писателя,— он отмечает:

«Жизнь увлекала его, и в каждом ее проявлении он умел уловить поэзию. Ибо знал, что где жизнь, там и поэзия. Поэзия владела всем существом писателя, будила мысль, чувство, фантазию, вызывала в воображении вереницы пленительных образов.

И удивительно! В каждом предмете Лоскутов умел заметить то, что составляло самую его сущность. Он и к вещам подходил, как к живым существам, не только с любовью, но и с большим уважением.

Именно эта любовь, взволнованная и страстная, озаряла для него все явления жизни, и он видел их по-новому, в манящей первозданной свежести. Это и составляло оригинальность и очарование его книг.»

И далее не могу удержаться, чтобы не привести еще одно примечательное высказывание:

«Лоскутов не боялся тягот жизни. Он не умел скучать. Пустыня не была для него ни чахлой, ни однообразной. Голова его была полна мечтаний. И жажда новых впечатлений рождалась у него постоянно. Он не разделял мудрости бесстрастных людей».

Незадолго до выхода «Книги скитаний» К. Г. Паустовский написал специальную заметку о М. П. Лоскутове, в которой, в частности, говорится:

«Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей (имеется в виду «Конотоп».— Вл. Н.) тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек.

Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, «чертовски талантливым» писателем.

У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношений к жизни.

Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из «подробностей быстротекущей жизни», они всегда были основаны на конкретности, на своем видении мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места никакой поэзии.

Жизнь Лоскутова была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это

был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и не описанный континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника, такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.

Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей».

Обычно утверждают, что никто не противоречит так сильно друг другу, как очевидцы. В данном случае этого нет, обе характеристики лишь в частностях и деталях дополняют одна другую, совокупно набрасывая правдивый портрет.

Таков, стало быть, М. П. Лоскутов, человек и писатель, жадный до жизни, мотавшийся по стране в годы первых пятилеток, написавший много очерков, публиковавшихся в журнале «Наши достижения», основанном А. М. Горьким, и в других изданиях. Остается напомнить книги, написанные им, к которым, думается, не без пользы может обратиться читатель. М. П. Лоскутов успел издать «Тринадцатый караван», «Говорящая собака», веселые рассказы и другие.



Письменный стол Р. Фраермана.

И. И. Халтурина многие из нас знали. Это был очень образованный человек, до конца дней своих трудившийся в критике, уделяя преимущественное внимание литературе для детей. Он длительное время был на редакторской работе и слыл одним из самых опытных и культурных редакторов, что для литературы весьма важно, написал довольно много статей, предисловий, послесловий, рецензий. Писал он обычно сжато, дельно и интересно. Писал не слишком много, скорее даже значительно меньше того, что можно было от него ожидать. В этом была и строгость, а некоторые утверждают, и лень. Скорее всего больше первое. Мне приходилось слышать, что он смертельно боялся писать плохо.

Был он действительно добрым и вдобавок веселым, приветливым человеком. Долгие годы он дружил с Фраерманом и Паустовским, но самая преданная дружба у него была с Гайдаром.

Теперь мы представляем себе всех, кто составлял «Малый Конотоп», как бы его ядро, самую сердцевину.

В «Конотопе» обсуждалось не только написанное, но еще чаще задуманное, здесь принято было делиться замыслами, новыми идеями. Известно, что план книги «Кара-Бугаз», «украшенный авторскими отступлениями и цитатами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов и лоции Каспийского моря, из энциклопедии», авторскими размышлениями, «выданными за чужие цитаты», К. Г. Паустовский впервые прочитал на «Малом Конотопе». И это, разумеется, не было исключением ни для К. Г. Паустовского, ни для других «конотопцев».

Несправедливо было бы, говоря о встречах в «Конотопе», умолчать о двух непременных его участницах — Валентине Сергеевне и ее матери Екатерине Михайловне. Это были отнюдь не безгласные свидетели происходившего и не только добрые хозяйки, ограничивавшие свою роль лишь тем, что подавали на стол знаменитые пирожки и готовили общее чаепитие. Нет, их мнением интересовались, их советов спрашивали, им наравне с другими предоставлялось слово, хотя они и высказывались, может быть, не столь решительно и категорично. Для высказывания своих суждений у обеих были достаточные основания.

Екатерина Михайловна была активным деятелем народного просвещения. Что касается Валентины Сергеевны, то здесь, пожалуй, следует сообщить, что, кроме того, что она несколько лет работала в РОСТА, где и встретилась со своим будущим мужем, именно она по его рекомендации как председатель месткома давала санкцию на прием К. Г. Паустовского на работу в это учреждение. Ко времени образования и расцвета «Конотопа» Валентина Сергеевна и сама занялась более широкой литературной деятельностью и через некоторое время стала заместителем главного редактора журнала «Пионер».

«Конотопов» было три — малый, средний и большой. В «Книге скитаний» читаем об этом:

«С каждым годом у Фраермана становилось все больше друзей. Поэтому «Конотоп» начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием.

Пришлось в конце концов установить три разряда «Конотопов» — малый, средний и большой.

«Малый Конотоп» собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер. В «Средний Конотоп» вошли новые «общинники» — Василий Гроссман, Семен Гехт, Андрей Платонов, старый наш друг по Батуму архитектор Миша Синявский и его жена

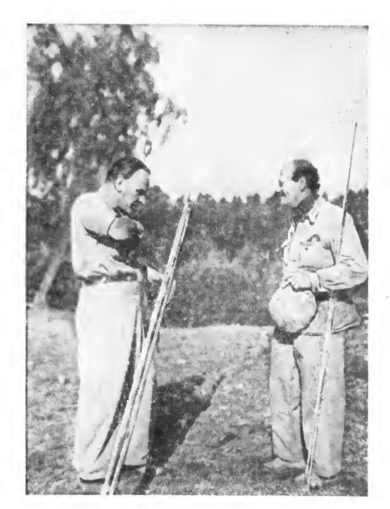
Люсьена. Собирался «Средний Конотоп» с «Малым» раз в неделю. И, наконец, примерно раз в месяц собирался «Большой Конотоп», громоздкий и шумный.

На «Большом Конотопе» можно было встретить самых разношерстных людей — от сибирского восторженного поэта Вани Ерошина («Душа горит!») до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами — историка Тарле, и от корректного до последней пушинки, снятой с пиджака, писателя Георгия Шторма, до волгаря и «окальщика», книголюба Шуры Алимова — косоворотучного вечного студента».

Кроме «Малого» и «Большого» Конотопа, был и так называемый «Високосный Конотоп». Он приходился на именинный день Валентины Сергеевны — 23 февраля — и к високосному году отношения не имел.

От Рувима Исаевича и Валентины Сергеевны мне известно, что на «Конотоп» заглядывали, помимо тех, кого называет К. Г. Паустовский, А. А. Фадеев, М. Е. Кольцов, ученые, медики, юристы, дипломаты, кое-кто из артистов и музыкантов.

Евгений Викторович Тарле всякий раз, когда наезжал в Москву, еще с вокзала звонил в «Конотоп», справлялся о предстоящей встрече и непременно приезжал. В этом случае обеденный стол в прихожей, служившей одновременно и столовой, отодвигался и у стены ставилось председательское кресло специально для почтенного академика. Евгений Викторович был в большой дружбе с Валентиной Сергеевной, он постоянно с ней переписывался, дарил ей свои книги с трогательными и пространными дарственными надписями.



К. Паустовский (слева) и Р. Фраерман.

Из обширной переписки с Е. В. Тарле уцелело лишь девятнадцать писем да несколько книг с дарственными надписями. В этих письмах почтенный академик то и дело вплоть до конца жизни с благодарностью вспоминает встречи «на Пушкинской, 20».

Так, в одном из писем (все письма адресованы Валентине Сергеевне.— Вл. Н.) читаем: «Очень рад был весточке от Вас. Увы! Ваш вещий сон, очевидно, относится к тому, что проклятые эскулапы, отсрочив мое потрошение, положат меня в больницу только 23 января — не позволяют поехать на январскую сессию (Академии наук.— Вл. Н.) в Москву! А для меня Москва теперь обогатилась одной достопримечательностью — Пушкинская № 20. Так у Вас было прелестно, что вспоминаю с большим удовольствием».

И даже в письме, датированном 2 января 1960 года, когда о «Конотопе» многие начали основательно забывать, Тарле пишет: «Как часто я вспоминаю, сколько прелестных вечеров провел у Вас на Пушкинской. Недавно в большом обществе академик (старый, резкий, очень знаменитый — естественник) сказал как-то такой афоризм: «Почему о таком таланте, как Фраерман, с его Динго, Головиным — както мало пишут, а о всяких болванах и бездарных нахалах слышишь постоянно?»

К тому времени, когда он стал бывать на «Конотопе», слава академика гремела не только по всей нашей обширной стране, а и далеко за ее пределами, его книги, отличавшиеся не только глубокой научностью, но изяществом стиля, подлинной поэтичностью повествования, читались всюду широко. Он был уже в годах, его одолевали недуги. И тем не менее собрания «конотопцев» были настолько интересны и увлекательны, что Евгений Викторович засиживался на них порой до утра. Его, конечно, привлекали люди, чье творчество он ценил, и те интереснейшие беседы, которые поистине можно было охарактеризовать как пиршество ума, и чтение новых страниц только что законченных, но еще не опубликованных произведений и даже еще только писавшихся книг, и шутливые проделки, и остроумные розыгрыши и выходки.

Покидая «конотопские» бдения, Е. В. Тарле не раз признавался:

— Я ухожу от вас освеженным. И мне еще больше хочется работать.

И живя в Ленинграде, он продолжал интересоваться «конотопскими» делами. Наезжавшие туда писатели-москвичи непременно обязаны были являться к академику и рассказывать о «конотопских» новостях. Евгений Викторович каждый раз не только с интересом слушал, но и дотошно расспрашивал о своих друзья из «Конотопа».

Если старый, больной и весьма почтенный ученый,

заваленный сверх головы неотложными делами, был так привержен к «Конотопу», то по одному этому можно себе представить, что это были за собрания!

У «Конотопа» был гимн. Его сочинил А. Гайдар. «В этом гимне,— сообщает К. Г. Паустовский,— трогательно изображалась смерть Гайдара в Конотопе от неизвестной причины:

Конотопские девушки свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«От чего это умер паренек?»

Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара:

Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в Конотоп!

Стихи эти, видимо, забылись, если были кем-то записаны, то, возможно, со временем еще и отыщутся, и, памятуя, что в каждой шутке есть доля правды, будем надеяться, прибавят какой-нибудь штришок для характеристики «Конотопа».

У «Конотопа» был не только гимн, но и свое «евангелие». Этим «евангелием» назвали два тома писем Г. Флобера из собрания его сочинений, издававшегося Государственным издательством художественной литературы в тридцатых годах. Оба эти тома принес в дом Фраермана К. Г. Паустовский и подарил их Валентине Сергеевне.

Были в доме и другие тома этого издания, почти полный комплект собрания сочинений. Книгами этими зачитывались и дорожили. Их увозили с собой в Солотчу, где подолгу и вдохновенно работали в тишине и удалении от столичной сутолочной жизни. Там эти книги и погибли во время пожара. Случайно уцелел лишь первый том писем Флобера, охватывающий его эпистолярное наследие с 1830 по 1854 год. Книга эта вся исчеркана начиная от издательского введения и кончая не только комментариями, но даже и указателем собственных имен.

По свидетельству Валентины Сергеевны, и другие тома Флобера были точно так же исчерканы, что свидетельствовало не об одном лишь внимательном чтении, но буквально о самом дотошном изучении.

Книгу писем Флобера расчеркивали Р. И. Фраерман, К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар и А. И. Роскин. Все они в ту пору были еще достаточно молоды, жаждали знаний, стремились учиться своему трудному делу, с великой охотой присматривались к опыту классиков. Вместе с тем к тому времени они уже были, хотя, может быть, еще и не очень знаменитыми, но уже довольно известными писателями. У Р. И. Фраермана, например, помимо стихов, поэм, рассказов и повестей, публиковавшихся в журнале «Сибирские огни», вышли в свет книги «Буран», «22 на 36» (Очерки об МТС), «Сквозь белый ветер», «Васька гиляк», «Вторая весна» и «Никичен». Общий тираж шести книг уже подходил где-то к половине миллиона. Не меньше успели наработать к этому времени и три других его товарища. И тем не менее все они понимали, что творчество только начинается, что впереди еще ждут высоты, которые возможно одолеть лишь во всеоружии знаний, овладев прочными основами труднейшего мастерства.

Книги Флобера в конотопском кругу были учебниками мастерства. Все четверо были влюблены в блестящего мастера. Влюблены настолько, что для них имел значение не только его творческий опыт, эстетические принципы, даже некоторые морально-этические сентенции, но и круг его знаний, его литературных пристрастий. Все книги, какие читал Флобер, на какие он обращал внимание своих друзей, ими брались на заметку и, видимо, прочитывались. Не оставлены без внимания оценки, которые дает Флобер явлениям литературы и искусства, наиболее примечательные места выделены подчеркиванием.

Самый большой интерес вызывали те откровения Флобера, которыми он как бы распахивает двери в свою творческую лабораторию, делится своими поистине выстраданными мыслями о писательском мастерстве, описывает свои тягчайшие муки.

«Конотоп» К. Г. Паустовский называет «писательским содружеством». Точное название. Содружество это примечательно не только тем, что конотопские встречи были действительно дружескими, но тем в особенности, что эта дружба была, помимо всего прочего, деловой, целеустремленной, творческой. Именно в этом содружестве и благодаря этому содружеству писатели деятельно помогали друг другу совершенствоваться, развиваться, как теперь принято говорить, расти. Для этого они не щадя сил учились, спорили, делились знаниями и едва накопленным еще опытом.

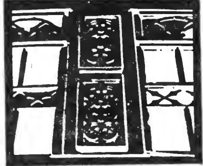
Можно только догадываться, как расширился круг интересов, сколько истинных ценностей мировой культуры оказалось в поле зрения «общников», когда в конотопских встречах начали принимать участие Е. Тарле, А. Фадеев, М. Кольцов, А. Платонов, В. Гроссман, не говоря уже об ученых различных специальностей, при любом удобном случае делившихся всем, что казалось необходимым.

Пример этого поистине замечательного содружества должен быть памятен поколениям. И не только потому, что в нем складывались и мужали действительно блистательные таланты, обогатившие нашу литературу многими примечательными произведениями, а потому главным образом, что опыт этого содружества необыкновенно ценен и поучителен. Писатели сами создали себе ту среду, которая была им столь необходима и которая позволила развивать и совершенствовать незаурядные дарования.

Читатель, видимо, заметил из приведенных высказываний К. Г. Паустовского, что центром конотопского содружества являлся Р. И. Фраерман. Ведь собирались не только у него, а главным образом вокруг него. Он был как бы тем тихим, даже неприметным руководителем, которого порой и не очень-то вроде бы чувствуют, но которому преданы до конца. Так было и в данном случае. До последнего дня своей жизни в течение сорока лет дружил с Фраерманом Паустовский, видя в нем не только товарища, а и самого верного, надежного советчика. Это же можно сказать и про А. П. Гайдара. Свое последнее письмо с фронта А. И. Роскин послал именно Фраерману. И М. П. Лоскутов до конца остался верен дружбе с ним. Так в «Конотопе» на преданность отвечали преданностью.

«Конотоп» — это молодость наших замечательных писателей. Позднее Рувим Исаевич воскликнет, вспомнив об этой поре:

«Это была наша молодость!.. наша духовная молодость, начало творческой жизни».



Ольга
ТЕЗИКОВА

деревянные письмена



Оформление Д. КОНСТАНТИНОВА.

Есть еще на Севере такие уголки, где притаилась русская сказка.

Добротно сработанная северная изба вдруг вперит в вас загадочный взгляд птицы Алконоста.

Незлобивые львы посмотрят внимательно и простодушно позволят любоваться собой, сами добродушно красуясь кончиками расцветших хвостов.

А потом вы увидите русалок-берегинь.

У морских-то берегов,
У желтых песков,
А и плещут плавные
Морские струи.
А играют берегини вековечные,
Заигрался Добрыня с берегинями...

На Севере былины. На Севере резьба. Холодный заснеженный край сохранил неприкосновенность народного эпоса, фольклора зодчества.

На Север едут. Везут оттуда фольклорные записи, иконы. Лобовые доски с берегинями и львами, расписные прялки перекочевали на страницы роскошных альбомов.

Впрочем, что касается резьбы, то пишут: «Памятники резьбы занимали и сейчас занимают приволжские районы бывших Ярославской, Костромской, Казанской губерний, вплоть до Саратовской».

Вот так черным по белому: «вплоть до».

...История притаилась среди новостроек. Маленькие домики, зажатые среди самоуверенных новых домов, рассказывают прошлое, как эти корпуса свидетельствуют новое.

Полуистершиеся знаки, обломки геометрического деревянного узора — таинственный код истории народа, его представлений об окружающем, его поэтических верований.

Автор «Русского леса» пишет: «Любое племя на земле владело в детстве поэтическим зеркальцем, где причудливо, у каждого по-своему, отражался мир; так впервые впечатления бытия слагались в эпос, бесценное пособие к познанию национальной биографии наравне с остатками материальной культуры».

Так собрать эти «остатки», этот деревянный фольклор, собрать как можно быстрее и больше, бережно сохранить, попытаться расшифровать, чтобы заглянуть в чудесное зеркальце славянского племени, чтобы прочесть страничку национальной биографии!

Нет судьи беспристрастней, чем фотоаппарат. Недаром и название ему: «Объектив».

И девятьсот метров отснятой за полгода пленки заставляют размышлять: не доехали, что ли, ученые мужи до Саратова, притомились ли в пути дальнем, что не увидели, не разглядели в тридцатые годы того, что и сейчас еще, сорок лет спустя, сохранилось, дошло до нас?

Берегини, правда, и мне не попадались. Львов не было тоже.

Так называемая «глухая резьба» не характерна для Саратова. Но она есть. Смотрится она на домах литым из драгоценного металла убранством. Характерно для Саратова другое. Здесь есть всякая резьба, то есть все известные виды художественной резьбы: глухая (долбленая резь) и контурная, рельефная и накладная, ажурная прорезь, архаическая трехгранно-выемчатая и поздняя скульптурная. И бесконечное разнообразие в сочетании и комбинировании этих видов.

Наверное, это когда-то было плохо — не было стилевого единства. Но сейчас, когда деревянная резьба уходит в область преданий, остается быть благодарным этой нечаянной пестроте. Город оказался неосознанным хранителем и нежданным хранилищем разных пластов русской художественной резьбы.

И радостно оттого, что держишь в руках то самое «поэтическое зеркальце» народа, в котором так по-своему отразился мир.



Детство племен, детство народа, как всякое детство, доверчиво, благодарно и близко к природе. Бесхитростные понятия об окружающем укладываются в яркие поэтические образы и рождают многочисленные уподобления. День за днем встает солнце над полями, реками и пашнями. Зреют злаки под его лучами, блещут водами реки. Как же не восславить его животворную силу?

И поются песни, и кружатся хороводы.

А мы сечу чистили, чистили,
Ой Дид-ладо, чистили!
А мы просо сеяли, сеяли
Ой Дид-ладо, сеяли, сеяли.

И круглая форма хороводов и их кругообразное движение — символ солнечного движения — и «Дид-ладо»,— все назначено прославить Солнце, «Дажьбога», внуками которого назовет русских автор «Слова о полку Игореве».

Вот и перстни девичьи маленьким солнышком играют, и хлебы круглые солнцу уподоблены.

Так вошел в русскую народную орнаментику и стал основой ее круг — древнеязыческий символ солнца.

Теперь это око постоянно и вопрошающе следило за мной: платят ли по-прежнему «внуки» дань уважения солнцу?

Солнышки были разные и смотрели отовсюду: на оконных наличниках вы могли видеть ореол лучей от невидимого диска; над парадным крыльцом другого дома встающее солнце выбрасывало длинные тонкие лучи, на воротах оно стояло «в зените» и цвело полным жизни цветком. В спиралях кронштейна одного резного крыльца почудилось даже косматое, «сложное» солнце инков.

Но чаще всего солнце занимало свое место на фронтоне.

Лобовые доски — те самые, что облюбованы на Севере берегинями,— украшены порой целой гирляндой повторяющихся полукружий. Так древний художник стремился передать картину чередующихся дней, повторяющихся заходов и восходов солнца. А устойчивая традиция донесла эту картину до наших дней.

«Строка за строкой» читаются деревянные письмена.

Одно из резных украшений слухового окна, показавшееся вначале очередным «солнцем», наводило на какие-то сомнения. Как ни бесконечно разнообразие солнечных кругов, розет, спиралей, в этом угадывалось какое-то иное содержание. Здесь стрелы не казались солнечными, а были вполне определенно стрелами лучковыми, расположенными по кругу. Из каких же глубин донеслось это слабое эхо, отголосок культового действа славян!

«...Руссы приносят у подножия дуба в жертву птиц, кладя их между стрелами, расположенными в виде круга». Правда, птиц уже не было.

Да и какое дело было недавнему уже домовладельцу до культа древних славян, о котором он наверняка и не слыхивал.

Встречались и солнечные кони. И опять-таки не северные могучие охлупки из цельного комля, а погородски тонко выпиленные, похожие скорее на цирковых пони, чем на традиционного русского «добра коня». Но все-таки занимали они положенное им место и, может быть, не подозревали вместе с выполнившим их резчиком, что состоят в прямом родстве с солнышком, расправившим лучи-перышки на воротах того же дома.

Из отмеченных архаикой мотивов встретилось изображение «древа жизни».

«Древо» свободно и непринужденно «росло» прямо на фронтоне, было по старости разрушено, но показалось мне настоящим подарком судьбы.

Очень широкое распространение (особенно по Саратовской области) имеет изображение на наличниках крылатого диска. Это тот же солнечный круг, но с крыльями по сторонам. Здесь слияние двух символических изображений солнца. Одно — уже знакомый нам круг. Другое — представление солнца в виде птицы. Солнечный крылатый диск — символ общий для всех (или по крайней мере большинства) народов земли. И знаменует он победу светлых сил над темными, возвещение людям света, живительного тепла.

Чем больше набиралось материала по деревянной резьбе, тем меньше оставалось сожалений о том, что нет у нас прославленной глухой резьбы. Берегини и львы не вызывали уже ни черной, ни белой зависти.

Никогда не было в народном творчестве и никогда быть не может ничего случайного, необусловленного. На Севере вы уловите глубокое соответствие между суровой природой этого края, постройкой и ее украшением — глухой домовой резьбой. Последняя явно перекликается массивностью форм и с тяжелыми серыми пластами туч и с глубоким снеговым покровом.

Другие формы природы питали творчество наших резчиков.

Природа края всегда накладывает свой отпечаток на все творчество народа, здесь живущего. Преображенная рукою художника, она ложится в основу искусства орнамента. Художник отбирает при этом главные, характерные черты, самые яркие, по которым мы угадываем потом в наличниках окон или в навесах крылец повисшую дождевую капель, осенние листья, уже лишенные своей зеленой плоти, обвисшие, легкие, просвечивающие. Хрусталики сосулек, лесную ягоду, хлебные полоски.

Характерны сами названия элементов резьбы. Они различаются по технике исполнения, но уже в них выражено и звучит глубоко русское начало: камешки, бусы, соты, ремешок, глазки, кустики, чешуйки, фонарики, витейка и множество других.

Деревянная резьба имеет свой художественный язык, несложный, но богатый.

Примечательна резьба Саратова и тем, что на одном доме вы видите углы, украшенные лирой, а на другом — такой фигурой, что в поисках шифра к ней можно забрести в немыслимые дебри археологии и потеряться в мифах глубоких предков. Одно такое «чудилище» резное так и засело занозой. Нет его в альбомах, и нет похожих на него. Крупной чешуей покрыто его распластанное тело, угловата маленькая головка. А перед ним — круг, внутри круга — крест. Круг и крест, в него заключенный, означают домашний очаг, согласно древней символике.

Стало быть, чешуйчатое чудище оберегает этот очаг.

Были резчики веселые и задорные. Злые духи их уже не тревожили, перешагнули они через заклятья и озорно «вывесили» на углу дома серебристую рыбку речную, волжскую. Самую настоящую: с чешуйкой и хвостиком и острыми плавниками. И висит она, поблескивает серебряной чешуей на солнышке.

А другой веселый мастер опоясал свой дом гирляндой веселых рожиц, тех самых, из детской считалки: «Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая».

Нет, про каждый дом надо отдельно рассказывать. Про орнамент, что всюду разный. Ведь его по пластам раскладывать можно. Как накладывала история на старый, разносословный, разнонациональный город пласт за пластом, все и уложилось в орнаменте.

А пишут все больше о Севере. Считается, что у нас резьбы нет. В других она, мол, областях, «вплоть до Саратовской»...

г. Саратов.

Александр Шуплов



✪

Черемшу у старух локупапк,
соскочив с поездов ка ветру,
пбом горячим к стекпу пркккпапк,
проезжая Байкап поутру.

Пклк сок приамурской березы
к гпоталк махорочкый дым,
прокликалк таежкые грозы
и влюбляпксь одкк за одккм.

И, впекомы такксткеккой впастью,
ка утесе вставапи крутом,
быпк счастпквы тем самым счастьем,
о котором мечтапк потом.

✪

И, накокец, нас аынесло к Байкапу,
к свет квпором зрекье охпадкп.

Весекккй педоход сверкап бокамк,
и плаакпся, и в кебо уходкп.

Ок был бепей, чем снежная лустыня,
хракящая далекке спеды.

Но ло краям уже бурпкпк сккью
прорехк пробудквшейся аоды.

Потягквапась с ткхим хрустом подкв,
вмороженкая в воду ло корму.

И тонкое веспо по-жекскк кротко
мужичью ожкдало пятеркю.

Ждап, льякый жкзкью, омупь схватки
с сетью.
Ждапа вопна грызкк с гракктом скап.
И ждап Байкап пюбвк к мкпосердья.
С кадеждою свой декь грядущкк ждап.

✪

Пупьс к капепь стучапк кевпопад.
Царипк вкхрк с пркмесью мазуркк.
Напквшксь соком, сповко вкноград,
весь декь дымкпксь гроздьями сосульки.

Звекепк, квк звокочкк, позвокки.
Стучапо сердце молодо к гупко.
Тякупксь ваерх с травой вперегокки
мапьчкшки и девчокки переупка.

Стесняпксь кабежавшей красоты.
Не сразу от счктапок отвыкапк.
А ка пкце, как первые цветы,
гпазкщк кзумпекко лопыхапи.

✪

Прkбывают поезда.
Убывают поезда.
А кад мкром каждый вечер
светит скняя заезда.

Пркпетает самолет.
Улетает самопет.
А над мкром, а кад мкром
скег кдет, к дождь кдет.

Покидают нас друзья,
И находят кас друзья,
А без них кккак кельзя.
А без ккх кккак кепьзя.

✪

Стучит в соседкей комкате мвшикка.
Там мама что-то штопает, поет.
Попзет к вкску кезркмая морщккка,
а мама что-то штопает, поет.

Горит кастопькой пампы сыроежка.
Мир комнаты капопккпся теппом.
И сыппет дождь со скегом вперемежку
за кашим кезамерзкувшкм стеклом.

А я лежу за стенкой, ткхкй, гпупый,
за песеккой всем сердцем пркпусткв.
Но губы, кеобкусакные губы
уже ккой нащупапк мотка.

✪

Метепи,
карусепи,
хпеб посреди стола...
А скопько детсккх счастькц душа
ке аобрапа!
А скопько юкой болк, которой кас ожгпо,
в рассудок не аместипось, на память
ке легпо!

А скопько зрелой грустк, лрозрекkй
к замет
позднее лоявкпось!
А места в сердце кет.
А скопько прочкых кстkк с ктогамк
прkдет —
лрекрасных и бесспоркых.
Все прочке не в счет!



Юрий
ИВАЩЕНКО



Вернувшись из армии, двадцатидвухлетний Юрий Иващенко продолжает учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова; в конце прошлого года он стал сотрудником отдела военно-патриотического воспитания «Комсомольской правды».

ДЕСАНТ КАК ДЕСАНТ

Я был рядовым воздушно-десантных войск и приехал домой в отпуск. Знакомые наперебой спрашивали о прыжках с парашютом, вскользь интересовались армейской жизнью вообще, но больше всего хотели узнать: сколько людей разом я могу поколотить и воткну ли с десяти шагов нож в спичечный коробок? А на одной вечеринке милая девушка из МГУ была сильно разочарована, когда я почему-то не стал завязывать узлом вилки и прыгать в окно, вышибая на лету раму головой.

Это не байка, хотя казарма буквально тряслась от хохота, когда я рассказал эту историю. Мы тогда долго разговаривали с ребятами о десанте, о службе, вспоминали разные случаи. И что интересно, речь шла не о танковых обкатках, не о бросках и красивых атаках. Услышь наш разговор посторонний человек, он бы, наверно, тоже был разочарован, как та девушка из университета: уж больно привыкли люди видеть в десанте только удаль и блеск, всесметающую силу, тренированные мышцы, молниеносную реакцию. Все это, в общем, действительно так. Но главное все же в другом, не попадающем обычно в объектив фотокорреспондента или на экран телевизора. Это как в театре, где актеры хорошо знают и играют свои роли, читают прекрасные монологи и зритель в восторге от того, что видит. Он думать не думает о переживаниях первых репетиций, о срывах, спорах, несостоявшихся ролях, хотя спектакль — это итог долгой, кропотливой работы.

Через пять минут — в небо...

Фото рядового Виталия ДЕРЕНДЯЕВА.

Сравнение армии с театром не преувеличение. Впрочем, буквально понимать его тоже нельзя. Сегодня, когда война стала для нас далеким прошлым, солдат остается солдатом, и его тщательно готовят не только для парадов. Пусть выстрелы холостые, но зимний холод в окопах не потеплел с сорок первого года, и не полегчали сапоги. Служба по-прежнему ставит перед солдатом нелегкие задачи.

У десантников они трудны вдвойне.

Солдат сорвался с макета дома на штурмовой полосе, сорвался или из-за неумения, а может, просто из-за ротозейства. Он покалечится, если его не подхватят страхующие, но они подхватят, они и поставлены внизу на этот случай. А ежели десантник не будет уметь «себя вести» или станет зевать в воздухе, ему никто не поможет. Никто не подскажет, как справиться с «задурившим» парашютом, никто не подхватит у земли тело, падающее со скоростью полсотни метров в секунду. Значит, вся надежда только на себя самого, на свою собранность, на хладнокровие. С такими качествами не рождаются, а десантником без них не быть. Значит, человек должен эти качества приобрести.

Десант выброшен! Понятия тыла, флангов относительны. С «Большой землей» тебя связывает чуть что готовая оборваться ниточка в эфире, и кто знает, смогут ли сюда при нужде пробиться самолеты, чтоб сбросить боеприпасы, еду, медикаменты. Нельзя быть уверенным и в том, что там, внизу, тебя не ждут люди, которые отлично знают: парашютиста в воздухе надо бить с упреждением на два корпуса...

Каким же должен быть человек, чтоб в случае необходимости пойти на все это, не струсить? Смелыми становятся, начиная с малого. Но, как правило, и это малое бывает трудным.

Прыжки с парашютом — начало начал для десантника. Это все равно, что ребенку научиться ходить и говорить «мама». Но если ходить человек приспосабливался десятки тысяч лет и это для него дело естественное, то бросаться с заоблачной высоты — это уже насилие над людской природой, не давшей человеку крыльев и не пустившей его в небо, как птицу. А всякое насилие обязательно вызывает сопротивление, поэтому все существо начинает беситься, когда впервые подходишь к распахнутой в облака двери самолета. Перед тобой встает барьер настолько материальный, что после первых прыжков — после его преодоления — люди теряют два-три килограмма в весе.

И вот на первом прыжке в армии, перед самой командой «пошел», я обернулся, просто из любопытства. Зрелище было редкое. Отрешенные, бледные лица. Глаза, как говорят, «квадратные», неподвижно уставлены на сигнальные фонари. Сзади стояли люди, как бы потерявшие способность реагировать на окружающее. Им в тот момент — знаю по себе! — больше всего хотелось стать маленькими, как букашка, незаметными и тихими, спрятаться, затаиться.

А ведь на земле эти парни трусами не были... Девчата на «гражданке» не робели рядом с ними даже в самых скандально известных переулках.

И вдруг эти лица! Такая ситуация: под лавку или в небо. Третьего не дано.

...Команду я тогда не прозевал. В воздухе развернулся на самолет и не увидел других вверху. Потом наш «корабль» еще раз зашел на круг, и в небе-таки повисли купола парашютов, правда, на один меньше, чем должно было быть. Уже на земле выяснилось, что стоявший за мной парень прыгнуть не смог.

Он был постарше нас. Когда Сергей брился — лезвие аж скрипело. Над губой чернел шнурок усов. Да и лицо с крупными, четкими чертами всегда хранило неизменное, уверенное, мужественное спокойствие. Даже смеялся как-то особенно сдержанно. В столовой — а аппетит у всех был волчий — ел аккуратно и красиво. Говорил Сергей обстоятельно, спорил с несокрушимой логикой.

Даже в столь обязательной для казармы теме, как «девичья», Сергей никогда не ударялся в пошлятину. Как-то мы увидели у него фотографию дивной женщины. Такую обхаживать в метро, скажем, на предмет телефона — все равно, что попросить оставить покурить английскую королеву. Ребята обмерли в немом восторге. Сергей же, окончательно дополняя впечатление о себе, просто и веско сказал: «Вернусь — поженимся. Ждет!» Сомнений в этом быть не могло. Действительно, письма она присылала часто, он отвечал и никогда не пачкал конверта бессмертным «жду ответа, как соловей лета».

Всем нам было ясно, что на «гражданке» наш товарищ человеком был особенным, если даже на переломе первых армейских дней ничуть не изменился и сохранил свою линию поведения.

Так было до прыжка...

Его отказ прыгнуть настолько ошеломил всех нас, что мы не отреагировали на этот поступок ни сочувственным словом, ни издевкой. Казарма очень редко обходится так с трусами, но на этот раз она даже протянула руку помощи. Сергею доказывали, что парашют надежен, как валенок, как ложка. Миша Мовпан, перворазрядник, прыжков под две сотни, предлагал уложить купол своими руками. Сергей соглашался и внимательно всех выслушивал. Он даже снова садился в самолет, но, хотя был в центре внимания, все равно улучал момент и делал парашют негодным к прыжку, едва выпускающий открывал в воздухе дверь.

Гимнасты хорошо знают, как тяжело выполнить самый простой соскок, если однажды побоялся его сделать, не успел довернуть сальто и встретить землю ногами. Не совладаешь с собой очередной раз — будет еще труднее, потом еще... Можно бросить страшащее занятие, уйти от него, но покоя все равно не будет. Память о своей трусости вымотает нервы, изведет. Сергей не мог никуда уйти: служба! Поэтому его боль была еще острей. Вокруг-то были мы, не уступившие, сдюжившие. Львиная доля наших разговоров шла на прыжки, мы пели песни о прыжках, прыгали и снова говорили о них взахлеб, с восторгом...

Вслух он не признавался, что ему тяжело. Старался держаться и не подавать вида. И все-таки прежний Сергей исчезал. Постепенно, трудно. В голосе завелись чуть слышные заискивающие, неуверенные нотки. Да и весь человеческий монолит его треснул где-то внутри и перестал быть ощутимо целостным. Когда он заметил, что мы поняли, в чем загвоздка, ему захотелось оправдаться, он снова испугался, а потому стал суетиться и допустил непоправимую ошибку, сказав, что не будет прыгать: зачем рисковать той женщиной, машиной, своим домом, здоровьем? Лишний удар о землю, мол, ума не прибавит... Мы рисковали, хотя кости свои ценили не меньше, чем все нормальные люди, поэтому вдаваться в исследование психики человека, назвавшего нас дураками, не хотелось.

Мы стали допекать его насмешками.

Это было примитивно, а посему особенно для него тяжело. Ответа не следовало с самого начала. Постепенно отказчик в сознании роты был низведен до положения во всех отношениях незавидного. Стоит в наряде: самая черная работа ему! Просто как само собой разумеющееся, установленное давным-давно. Койка — на втором ярусе, получаем новое «хэбэ» — он последний, за столом сидит с краю. В разговоре слово Сергея значило не больше дверного скрипа —

посмотрели на него, вроде прервавшись на полуслове, и дальше про свое. Нет, нам это не доставляло удовольствия. Почувствуй рота хоть капельку, что он хочет честно выйти из «париев», ему бы снова постарались помочь. Но он не хотел честно...

Сергей не прыгнул ни через год, ни через полтора.

Ребята, многое испытав за два года, стали мудрее и терпимей. Научились видеть не только зримую форму событий, но и их суть. Трагедия Сергея, а это была именно трагедия, пусть он сам был в ней виноват, тронула людей. Он понял это сразу и повел себя как страдалец за свою особую веру — смиренно, но непреклонно.

А перед самой демобилизацией у Сергея совершенно случайно обнаружился значок парашютиста-перворазрядника. Маленький такой, серенький...

Впечатление было тягостное, потому что ложь оказалась продуманной, последовательной до конца, предназначенной на вывоз. Прицепи этот значок первогодок «для форсу», никто бы ему, наверное, и слова не сказал. А здесь была подлость. Человек хотел удобно жить, не тревожась за прошлое. Из памяти своей он страничку вырвать не мог, но вот залить ее жиденьким самообманом — мол, люди простили, значит, чист — хотел. Ему это было необходимо, чтоб стать прежним. Но большое по дешевке не купишь.

Эта история могла бы стать историей многих, не совладай они однажды со страхом. Но они справились. Каких сил это стоило, судить можно по истории с Сергеем.

Вообще десантники редко признаются в подобном. Как-то неловко. Совсем недавно, в своей первой журналистской командировке, я снова встретился с молодыми десантниками. Ветер в тот день тянул крепкий, а это значит, земля встретит неласково, а они травили всякие парашютные «ужасти», называли купол «моя старая тряпочка» и смеялись. Но я-то знал, что такое согнутые макушки деревьев, и они знали. Знал я и то, о чем ребята в такую погоду спрашивали в полете у борттехника: о баллах ветра. Значит, волнуются...

Приземлившись, они будут жевать мятые «беломорины» и одну за другой ломать «эти чертовы спички», а спустя минуту после первой затяжки уже смогут разом положить далекую, чуть видную фанерную мишень.

Десант выброшен, медлить нельзя, за ним сразу же начинается охота. Часть не группа диверсантов, которую могут и не заметить. На многие километры вокруг площади приземления противник поднимается по тревоге и держит готовность. Усилены посты, высланы дозоры. Не хватает разве что красных флажков и звуков охотничьего рога. И в этом положении десанту приходится не просто уходить от преследования, спасаться, а **выполнять боевые задачи**. Неожиданно, вопреки расчетам противника. А это значит — марш на десятки километров, болотные тропы, помеченные на всех картах непроходимыми, переправа через реки там, где это раньше считалось невозможным.

Окажись в такой ситуации человек неподготовленный, его не спасет ничто. Значит, сильным и выносливым надо уже быть. Сделать человека таким — одна из задач воздушного десанта мирных лет.

Спорт в ВДВ — обязанность. Такая же, как, скажем, не спать на посту или уметь стрелять из автомата.

В армии есть что-то вроде гражданского ГТО. Только здесь это много сложнее и нормативы жестче. Справиться с ними тяжело даже тем, кто увлекался и занимался спортом до службы. Но вот что интересно: главная сложность не в быстрых секундах и километрах кросса.

Дома нас окружает множество вещей, которых мы в повседневье и не замечаем. Полки с книгами, безделушка на письменном столе, удобный диван, всегда готовая к действию кофеварка, новая пластинка.

Живя устроенной жизнью, мы имеем полную возможность расслабляться, следуя своим желаниям или прихотям. Мы можем надолго залюбоваться первым снегом и прочувствовать радость от его холодка. Иногда мы за полночь, после целого дня работы, позволяем себе отправиться погулять куда-нибудь в парк. Это кажется естественным и неотъемлемым.

И вдруг твоя привычная жизнь кончается и наступает солдатская. Старые привычки остаются, но удовлетворить их, как прежде, уже нельзя.

Я отлично помню свой первый день в казарме. Я вошел и остался между красным, до блеска надраенным полом и непривычно высоким белым потолком. Поразило и подчинило именно это. В голове болью колотилась бессонница двух ночей, першило простуженное горло, ныли ноги в непритершихся сапогах. Состояние было полубольное. Первое, что захотелось, это лечь на безукоризненно заправленную койку, повернуться с боку на бок, резко, сильно, чтоб разлетелась эта монастырская строгость по нитке выровненных подушек, натянутых одеял, а потом уснуть и спать долго-долго, и проснуться дома, и забыть все, как дурной сон. Но ложиться было **не положено**...

Захотелось побыть одному, разобраться в ворохе новых впечатлений, но везде толпятся люди, а уйти куда-то тоже **не положено**.

Всего, с чем в первые часы службы сталкивается солдат, и не перечислишь. Это и десяток одна за другой следующих команд «отставить», если не по форме обратился к старшему; и одевание за сорок пять секунд; и ремень, затянутый так, что теснит дыхание. Привыкнуть к этому сразу нельзя, нельзя с самого начала и понять, к чему такие строгости. Поэтому мелочи и заставляют нервничать, особенно если представишь, что впереди целых два года.

Внутренняя перестройка забирает почти все силы. Страничка устава, которую еще несколько дней назад выучил бы за десять минут, никак не идет в голову. Выговор от сержанта взбесил, но пререкаться тут не положено, и все осталось внутри тяжелым, невысказанным грузом. А еще долго не было писем. Одно к одному...

Раз... два, раз... два. Корпус держать прямо, слушать команду!

Трое ребят отжимались от пола уже не первый и не второй десяток раз. Дрожат руки, на лбу пот, у одного даже слезы на глазах. Раз... два, раз... два. Парень вдруг мешком опадает, переворачивается на спину: «Не могу больше». Сержант молча подходит и возвращает его в упор.

Раз... два.

Вмешиваться и избавлять его от «муки» нельзя, хотя я отлично знаю, каково оно, это «качалово» в первые армейские дни. Нельзя, потому что он еще слабый, а сам заниматься не может и пересиливать себя не умеет.

Постепенно, капля за каплей, налились бицепсы. Никто уже не впадал на трассе в истерику. Все равно заставят бежать до конца, да потом и кислород перестал «пропадать» из атмосферы, стало легче, появились хорошие результаты.

Спорт в армии не самоцель, он не для рекордов. Нормативы, конечно, не идут ни в какое сравнение с секундами Борзова, головокружительными элементами Андрианова. Суть в другом. Вымученный финишный рывок, переброшенное под зубовный скрежет через перекладину тело учат держаться и действовать до полного изнеможения, одолевать по-

ставленные с упреждением предохранительные системы организма и психики. Десантнику это необходимо.

Вы наверняка знаете, каково приходится ночью в туристском походе, особенно если прихватил первый морозец. Холод достает через стенки палатки и даже через «спальник». Полежишь на одном боку четверть часа, и он уже окоченел. Надо повернуться, но каждое движение — мучение, все так и ноет. А тут еще и зубы стучать начинают. Хочется только одного — чтоб быстрее наступило утро и пришла первая электричка. О «Бетховенских сонатах», которые должны «волновать бродяжьи души», забыто накрепко. Вернувшись домой, молодые люди сутки отсыпаются и капризничают, если чай оказался с малиновым вареньем, а не с клубничным. Потом за бутылкой «Рислинга» происходит встреча. Упоительных воспоминаний хватает до конца года, а песни о снегах, пурге, затерянной в тайге палатке поются с редким романтическим надрывом.

Для нас снега, пурга были не каким-то отвлеченным образом, а самой настоящей реальностью. Надо признаться, особого вкуса в прихваченном морозом носе мы не находили даже после того, как почерневшая кожа сошла и даже успела нарасти новая. Петька Плехневич удачно сформулировал общее отношение к ночевкам в лесу. «Пусть лес! Но одеяло, чур, должно быть без дырок, а батарея паровая, чтоб как утюг. Вот тогда романтика!»

«Упавшего не бросают, значит, упавших быть не должно». Это неписаный закон десантников. Эффектная фраза, ее мне сказал человек с пятью орденами — все за операции в тылу у фашистов. Ему уже за пятьдесят, и вряд ли он видит во сне бригантины. Серьезный человек, суровый. Заподозрить его в трескотне было бы грешно.

...Шли учения. В тех краях ветер имеет обыкновение тянуть разом с четырех сторон, и зимой это особенно донимает. Мороз и ветер — сочетание бронебойное. В ту ночь был как раз полный набор этих «радостей». Мы «воевали» уже двое суток и в первый раз отдыхали. Рота лежала в снегу и пыталась заснуть. Костры жечь было нельзя. Наша разведка ушла искать противника, ну, а тот, конечно, искал нас.

Десантные куртки, несмотря на всю свою добротность, долго держать тепло, конечно, не могли. Оно выходило, топило снег внизу, а мы чувствовали себя остывающими на морозе железками. В объеме, может, и не уменьшались, но тряслись как одержимые. Какой там сон! А спать надо, впереди такое, что не поспишь — не выдержишь. Встаешь, крутишь руками, подпрыгиваешь. Кажется, согрелся. Ложишься, но тепло опять уходит, и зубы начинают клацать по новой. Рядом кто-то на минуту включает фонарик. Люди непроизвольно стараются попасть в его луч, хотя отлично знают, что тепла от него, как от лунного света.

Холод выматывает душу. Потихоньку, но неотвратимо появляется в голове кошмар, оформленный под белую ванну с зеленоватой горячей водой. Зрелищем успеваешь «насладиться» сполна. К счастью, скопившуюся злость удается употребить на оттирание онемевшей щеки.

Новая попытка заснуть. Неудача. Холод и тоска. Из оцепенения выводит Петька Плехневич. Ткнул рукой в бок.

— Там в рюкзаке... достань... самое время.

Кто-то постелил плащ-палатку, и все мы выложили на нее остатки личного НЗ. Харч был немудреный: полбуханки мерзлого черного хлеба, горсть сахару, плавленый сырок. Каждому достались крохи, но организм моментально превратил их в тепло.

Полегчало.

Мокро засопели торчавшие из меха шапок носы. Это добрый знак, верный. Петька на всякий случай исследовал состояние самого молодого из нас, потребовав издать звук «тпр...у». (Если окоченел вконец — его ни за что не произнесешь.) Качество звука по зимним нормам оказалось вполне подходящим. Мы сбились гуртом, укрылись сверху палатками и смогли немного уснуть.

Такой вот эпизод. Не яркий. Кто-то, прочитав его, уже через минуту забудет Петино имя и может только усмехнуться над проверкой на «тпр...у». Что тут особенного?

Живя сытой, устроенной жизнью, когда вдоволь еды и тепла, мы не знаем смысла, скрытого за некоторыми фразами: «отдал последний кусок хлеба», «уступил замерзшему место у костра». Мы пользуемся этими словами отвлеченно, как поэтическими образами. А ведь они имеют очень конкретный смысл. Кусок хлеба! Да мы отдаем его соседу, как сигарету, не делая из этого события. Батон за тринадцать копеек — и душевная щедрость. Уже несовместимо.

Одна газета как-то рассказала историю, случившуюся в слабеньком подобии такой ситуации. Десятиклассники пошли в поход. Выпили, ошалели. Ночью упал снег. Одна девчонка вышла на мороз и не смогла вернуться в палатку — заблудилась. Ее долго не было, но никто не пошел искать, а она замерзла до смерти.

Потом ребята оправдывались темнотой, холодом, плели с пятого на десятое, только чтоб скрыть настоящую причину своего бездействия, страха выйти из спасительной палатки.

Газету с этим материалом рота зачитала до дыр. Если десятиклассники попали в такую ситуацию случайно, то мы еще год назад такие же, как они, работали в таких условиях часто и подолгу. Мы жили по закону, о котором говорил старый десантник: «Упавших не бросают, значит, упавших быть не должно».

Это диктовала жизнь. Там, где тяжело,— один не выдержишь. Пусть ты силен, но если рядом с тобой слабый, тебе придется делать то, что уже не может сделать он. Это значит — ослабнешь и ты. Поэтому не дай ему упасть. Протяни половину своего сухаря, помоги на подъеме. Тогда он выпрямится, не ляжет на плечи остальных лишним грузом, поможет тебе, если будет надо. Живи так. Примитивно? Нет, просто, очень логично и четко, а главное, человечно. В этом-то и была наша романтика. Не гитарная, не до первого морозца. Петька Плехневич, тот самый, что говорил о батарее и одеяле, недаром любит костры до самозабвения, как огнепоклонник. Хотя объясняет это приверженностью к дизайну: «Полезно, но и красиво». Здесь явно что-то недоговорено. Попробовал бы кто-нибудь затушить ставший ненужным огонь с помощью сугубо индивидуальных противопожарных средств. Подзатыльник получил бы моментально, и получали некоторые.

— Он тебя согрел?

— Согрел.

— Обсушил?

— Обсушил.

— Так что ж ты в него гадишь, как свинья!.. Смотри!..

Пришедшая в роту молодежь обязательно проходила у Петьки полный курс «кочегарных наук». Он читал настоящие лекции о том, как держать костер на почевке, когда больше нужны угли, а не пламя. Как разжечь сырые дрова и убрать дым. Сразу после объяснения следовал опрос. Неусвоившие должны были идти за дровами. Сам «профессор» это

делал очень редко и обычно отряжал в экспедицию «доверенное» лицо. Но зато ночью всегда брал себе самую трудную и долгую вахту, часто прихватывая изрядный кусок дежурства какого-нибудь молодого солдата.

Поэт написал: «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа...» Для офицеров, которые носят погоны сегодня, служба как раз такая работа. Тревоги, учения, парады и повседневная учеба — дело, которому они учились, которое теперь составляет главный смысл их жизни. В военный городок они приходят как инженер приходит на завод, врач — в свою больницу, учитель — в школу. Но все-таки что-то отличает их от людей гражданских. Может, то, что в течение одного дня работой для офицера может стать и прыжок с парашютом, и лекция по психологии, и многокилометровый марш-бросок, и долгий, не всегда имеющий плоды разговор с человеком, вдруг выключившим сдерживающие центры. Такое многообразие сфер деятельности редко встретишь, мало людей, которые могли бы обоснованно, уверенно чувствовать себя в каждой из них. А для офицера это работа, возведенная уставом в ранг обязанности.

Для моего замполита, старшего лейтенанта Валентина Яковлевича Силуянова, это именно так. И говорить об этом он не стесняется. Проводя политзанятия на комсомольском собрании, перед трудными учениями, он спокойно скажет о долге, о присяге, о воинской чести. Скажет так, как написано в книгах, как мы часто слышим и читаем. Но никто, знающий Силуянова, служивший с ним, не повернется к соседу и не пошутит, имитируя говорящего: «А теперь я скажу несколько слов о международном положении». Поступить так — было бы все равно, что обругать человека, который сам работал за троих и еще старается самым искренним образом помочь и тебе.

А помогать людям приходится ему часто. Я помню, как часть готовилась выступить на всеармейском смотре спортивно-массовой работы, а наша рота никак не укладывалась в установленный норматив по бегу. На комсомольском собрании все говорили долго и много. Силуянов тоже — как всегда красиво и правильно. А наутро следующего дня, в шесть часов, замполит вывел роту на зарядку, и все убедились, что бегать он сам может, оказывается, так же хорошо, как и говорить.

Пришел он на зарядку и на следующий день, и еще, и еще раз. Целый месяц пот лил с нас градом, ноги гудели после кроссов, а мелькающая неизменно впереди голубая «олимпийка» вызывала совсем не нежные чувства. Но рота научилась бегать. И хотя никто не произнес «спасибо» вслух, наверное, каждый вспомнил Силуянова после тяжелейших летних учений. Может, и не вспомнили, а просто перекрыли все нормы на марш-броске и заставили генералов «ахнуть».

Люди — всюду люди. Солдатами не рождаются, ими становятся. А становиться трудно, уж слишком многое приходится отметать из прежних своих привычек, желаний. Не у всех это получается.

Требовать от людей можно и не стыдно только тогда, когда сам выполняешь все, что требуют от тебя. Это армейский закон для командира. В противном случае витает в воздухе фраза: «А сам-то?» Силуянов уяснил это давно. Взявшись за что-то, он требует. А браться приходится за все, он замполит. Я видел, как Силуянов отстранил от политзанятий офицера из-за того, что тот не подготовился и, запинаясь, читал группе передовую из какого-то журнала. Силуянов сделал это на глазах у всех солдат, может, это не слишком по уставу, да и с тем офицером они были приятели. Но иначе он сделать не мог: не умел изменять своей натуре. Не позволяя «сачковать» себе, он не позволяет это никому. Итог — в следующий раз мы слушали интересную лекцию.

Рота занимала зимой оборону, уставшие люди буквально грызли промерзшую на метр в глубину землю — замполит не сидел у костра, он ходил от отделения к отделению, кому-то показывал, как удобнее держать лом, учил премудростям, каких и старослужащие не знали. А потом будто из-под земли достал для роты целый термос кипятку!

Есть много людей, способных в каких-то ситуациях заразить окружающих своей энергией, а потом, иссякнув, опять впасть в дремоту. А замполит всегда одинаковый. Даже внешне. Собранный. Я увидел его в первый раз еще в «карантине». Рядом с сержантами, здоровенными ребятами, он казался юношей. Но как запрыгнул на перекладину, покорил сразу, такими лихими и легкими казались все «подъемы переворотом», «склепки» в его исполнении.

Недавно по своим делам я собирался ехать в тот город, где служил. Перед отъездом решил позвонить замполиту, предложить «посидеть в гражданской обстановке». Хорошо изучив за два года его распорядок, телефонный вызов заказал на одиннадцать вечера.

Мы знали жизнь казармы наизусть. Дверь в «каптерку» надо чуть приподнять, а иначе открывается туго. На вешалке, над крючком Толстова, на бирке неправильно написана фамилия, и Славка был зачислен в «графья». В проходе левые половицы скрипят больше правых. Ветку, что была видна из моего окна, я могу нарисовать с закрытыми глазами до сих пор.

Мы полюбили нашу казарму спокойной и ласковой любовью, как люди любят свое надежное пристанище. Когда-то ее стены давили и были почти ненавистны, а потом, после первых зимних учений, мы уже не знали ничего более желанного, чем эти стены, разве что родной дом, но он постепенно утратил реальные очертания и был больше похож на подзабытую красивую сказку Андерсена. А казарма была рядом. Пусть она пахла мастикой и сапогами, но в ней жили добрый дух, добрые, верные люди. Петя Плехневич, Виталий Дерендяев, с которым мы два года рядом спали, ели, стояли у десантного люка самолета, попробовали талой воды в весеннем броде. Казарма повязала нас в великое десантное братство, открыла простую и важную солдатскую мудрость, оказавшуюся верной не только для войны.

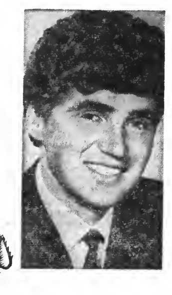
Неделю назад я снова попал к тому своему приятелю, дома у которого когда-то разочаровал милую девушку с университетского факультета. И снова там был солдат. Им стал один из парней, очень живо прежде интересовавшийся голубым беретом и аксельбантами,— тогда, когда я старался пригладить неотросшие вихры и все никак не мог «обжиться» и пиджаке. Теперь его очередь наступила. Теперь он приехал в отпуск.

Было шумно и весело. Крутилась хорошая пластинка, на столе стояло хорошее вино. Все были довольны вечером и не обращали внимания на светившийся, но молчавший телевизор в углу. Хорошо было этому отпускнику. Он танцевал. Но вот на экране появилась карта со змеями изотерм, и парень на минуту замер, выпал из ритма.

Потом он объяснил, что искал погоду в тех краях, где стоит его казарма, и его товарищи, может быть, коротают ночи в снегу, когда жечь костры не положено.



ПУБЛИ-
ЦИСТИКА



Владимир
КОТЕЛЬНИКОВ

Владимир Котельииков работает элeитромехаииком иа железиой дороге, писать иачал совсем иедавио, а в литературиый журиал прислал свою рукопись в первый раз.

ТРУЖЕНИКИ МОРЯ

Людей, о которых рассказывается в этом очерке, досужий наблюдатель вполне мог бы счесть отпускниками, развлекающимися подводным плаванием для собственного удовольствия. Прав он был бы в одном — действительно, герои очерка влюблены в подводный спорт. Но свои силы, опыт, упорство и волю они отдали делу изучения и охраны окружающей среды. С 60-х годов эстонская морская ихтиологическая лаборатория каждое лето организует экспедиции по Финскому заливу в местах обитания морской водоросли фурциллярии. Местная промышленность из этих растений получает желатин, и поэтому важно ежегодно определять разумную меру добычи фурциллярий. Охрана среды обитания — дело не только ученых и специалистов. Вот почему в этих экспедициях, используя свой месячный отпуск, работают молодые рабочие и инженеры — спортсмены-подводники морского клуба ДОСААФ. Их усилия не пропадают даром. Например, обследованный экспедицией участок побережья в районе Верги стал частью Эстонского национального парка. Прибрежные леса, подводный мир этих мест со всей живностью и растительностью раз и навсегда взяты под охрану государства.

Рисунки Т. КОРНИЛОВОЙ.

Я повис у трапа в мутной зеленой воде. Акваланг кажется мне наказанием. Надо махнуть начальству на палубе и идти на дно. Мне не хочется идти на дно. Сквозь воду я вижу, как там, внизу, работают мои огромные ласты, как прямо под кормой маячит винт и руль нашего корабля. Сверху, с палубы, свесились лохматые головы, кепочки — все смотрят вниз на меня. С трудом переворачиваюсь в воде и медленно вхожу в мутную глубину...

Мы вышли в море «попробоваться». Поднималась волна, и наш мелкий залив превратился в кипящий суп. Перед маской пролетали клочьями водоросли, метались испуганные окушки, и чувствовал я себя очень одиноко. Дна я не увидел, а просто тихо стукнулся о него маской. Тут был один песок—серый, пустой. Никаких водорослей, никаких фурциллярий, и я пошел наверх. Подождал хорошей волны, и она сама вытолкнула меня обратно па трап. Выбирался я на палубу медленно, не спеша, пытаясь разобраться в своих чувствах. Каждый год зимой мы говорим и мечтаем о подводных приключениях, но когда наступает лето и приходит твое время идти вниз, тебя некоторое время держат на палубе легкий страх и хандра. Потом, когда выйдешь из воды в первый раз, это проходит и в голове остается только дым восторга: «Ура, я плаваю...»

...Мы едем летом на острова, в тайгу, к бабушке в деревню, чтобы уйти от шума и чтобы найти одиночество и покой. Прийти на поляну и точно знать, что никто до тебя здесь не собирал землянику, что никто сюда не придет ни завтра, ни через два месяца, когда здесь появятся первые белые грибы. То же самое — проплыть над темной, холодной глубиной, втиснуться под карниз подводной скалы и улыбнуться: я здесь первый.

...В крыше сеновала чирикают воробьи, двери на улицу распахнуты, и кто-то из наших уже встал. Я вышел во двор. Хозяин дома, где наша экспедиция ночует,— маленький старичок, очень тихий и незаметный,—с утра лежит на солнышке посреди двора. Я осторожно обошел его, дед открыл глаза и, усмехнувшись, пожелал мне доброго утра по-эстонски. Двор и сад давно и, видно, навсегда захватили дикие заросли, однако он немного выкашивает их, расчищая жизненное пространство для себя и для гостей. Каждое лето он охотно берет на постой экспедиции,— чтоб повеселей жилось.

Все, кто работает в море, спешат использовать погоду, и мы тоже спешили. Дни нам выпали благодатные — тихие, солнечные. Сами мы постепенно расплавались и пообвыклись с кораблем и друг с другом. Кончились наши первые страхи, все снаряжение отлично работало, и мы уже к концу второй недели могли бы закончить месячный объем подводных работ. Но приехал Хэни Кукк, начальник экс-

педицни (он отсутствовал первое время) и «царственной рукой» добавнл нам работы: еще 50 станций, то есть 50 раз нам надо нырнуть за образцами, а нашему судну сделать столько же переходов. Неделя работы. В зтот вечер мы простились с тайными и заветными планами обойти пешком участок южного побережья острова Хийумаа и поохотиться в этих местах под водой в разных заливчиках, на песке и в камнях, потому что любая незаметная с виду бухточка может оказаться красивой, как аквариум, и очень богатой рыбой.

Но Кукка больше интересуют, конечно, не эти планы, а фурциллярия. В первый же день он надолго засел с капитаном и разрисовал всю карту Моонзундского архипелага новыми крестиками и пометками — те самые 50 будущих станций. Мы должны охватить выборочной проверкой большой район, и они наметили кратчайшие пути с участка на участок, чтоб каждый день к вечеру Хэйн Кукк мог со спокойной душой обводить кружками на карте очередные 15—20 крестиков. Значит, точно под ними мы, четыре аквалангиста, сегодня ныряли в живое море, брали пробы фурциллярий, замеряли толщину их слоя, процент покрытия дна и температуру воды. Такова наша работа.

В зто время колхоз «Хийу Калур» уже начал траление фурциллярий. Однажды утром мы подошли к колхозному промысловику. Я одевался на корме в шикарный американский гидрокостюм, рядом сверкал на солнце никелем и коронами французский акваланг — мне хотелось удивить рыбаков нашим снаряжением, и они рассматривали нас во все глаза. Я видел, как Хэйн Кукк и Рихо Кристьюхан вызвали капитана рыбаков на палубу и долго расспрашивали его о промысле. Ведь мы проводили исследовательскую работу собственно для них, для рыбаков. Наша задача в том и состояла, чтобы прямо там, под водой, убедиться, что поля фурциллярий не истощаются промысловиками, не исчезает зто ценное для промышленности сырье.

Куст фурциллярий с виду напоминает клок спутанных человеческих волос. Живут они на глубине около 10 метров, лежат на дне коричневым ковром, и потому вода над ними, если смотреть с поверхности или с палубы, кажется темной. 10 метров для аквалангиста — зто неглубоко, и потому, когда расплаваешься, не остается ощущения, что ты рискуешь, что твоя жизнь зависит от тебя самого. Нет зтого особого чувства и потому, что вода слишком теплая, плюс 22° у дна, а кругом, почти рядом острова, где поют птицы и шумят сосны. В открытом же море ты очень быстро проходишь слой теплой и светлой воды, все кругом темнеет, и ниже 20 метров термометр на руке горит ярко и тревожно, показывая иногда 0°.

Я знаю, что люди, которые много раз бывают под водой — подводные охотники, аквалангисты, профессиональные водолазы,— имеют особый взгляд на море. В море ты все время как бы невольно пытаешься почувствовать, угадать дно и глубину. В открытой Балтике, когда зхолот пишет 100 метров и острые пики дна, ты безрадостно представляешь себе эту унылую, бесконечную толщу воды, которую тебе не пройти, и там, в кромешной тьме,— голые, безжизненные скалы.

Мы стояли лагом, борт к борту, наука и промысел. Начальство выясняло, советовалось, а я надел акваланг и ушел под воду. Здесь — самый центр богатого промыслового района, поэтому толстый слой фурциллярий на дне был прорезан, как плугом, до белого песка тралами. По краям широких борозд



зти водоросли сбивались в высокие валы, борозды под водой повсюду перекрещивались, как лучи прожекторов в ночном небе. Я с удивлением планировал, как бы летал над зтим ковром, потому что прежде никогда не видел такого скопления ни здесь, у Хийумаа, ни в других местах Балтики, где их вообще очень мало. Когда я выбрался на палубу, Кукк и капитан промысловика как будто уже все обсудили и теперь через борт пожимали друг другу руки. Кукк вернулся к нам на корму, чтобы осмотреть пробы и записать в журнал все данные, а я спросил у него: не слишком ли много они, промысловики, тралят фурциллярию? Ведь таким же способом, тралением, архангельские рыбаки быстро и безнадежно уничтожили большие промысловые районы фурциллярий на Белом море.

Хэйн весело оглядел нашу загорелую бригаду на палубе и ответил: «А мы-то здесь зачем?»

Обедать мы подошли к небольшому зеленому островку. Пока Рихо надевал акваланг и гидрокостюм, Вадим Молотов, опередив его, прыгнул за борт «голяком», без снаряжения. Сверху было видно, как он не спеша, то удаляясь от судна, то снова возвращаясь, осматривает дно, а потом вынырнул, довольный, и сказал: «Глубина — 6 метров, песок... и тишина». Штиль стоял удивительный, началось купание. За борт прыгнул штурман Антс (утром в порту он отдавал швартовы, и больше я его не видел на палубе. Все зто время он спал в кубрике). Теперь он тяжело пыхтел у борта, как кит, потом не спеша отплыл подальше и замер. Его золотая, как апельсин, голова манила в море, и все полетели за борт. Сначала Вадик, сняв очки. Он изобразил с борта какой-то «деревенский крендель». Потом Рихо, тоже сняв очки, но спокойно, без криков, а затем и Мерике. Она держалась на воде поближе к трапу, и я шутя предложил ей акваланг попробовать, но она испуганно замотала головой.

Купаться в море рядом с судном — зто необычайное чувство. И хоть знаешь, что некому тебя на Балтике цапнуть за ноги и внизу-то неглубоко, но чувство зто, особое и острое, тебя не оставляет.

...Постепенно свет дня и восторги слабеют, и все, кто свободен начинают дремать. А когда солнце пойдет на убыль за острова, капитан Мянник возьмет курс на Трийги, маленький пустынный порт на

Хийумаа, где наш МСТБ-37 займет сразу половину причала и этим будет похож на крейсер или даже на линкор.

На берегу у нас рядом с дедовым двором, среди камней, устроено свое маленькое хозяйство, и мы тихо тащимся по булыжной, очень чисто умытой дождями дороге среди соснового леса к своему сеновалу. С фотоаппаратами, «Спидолой» и свитерами. Потом во дворе уже в сумерках Мерике и Хэйи разбирают нашу дневную добычу. Мы с Вадимом идем мимо этой полевой лаборатории в лес за хворостом, и я думаю о том, что еще утром эти жалкие серые комочки качались пышными кустами на теплых подводных лужайках, стелились живым ковром на отмелях, мимо них проплывали неугомонные окуни, и «все было еще впереди», а теперь они летают из рук в руки: то на весы, то обратно в мрачную цинковую ванну с надписью «Альгология» (альгология — наука о водорослях).

Однажды подсел к огню старый маячник Иван Макарович. Он аккуратно положил свой велосипед в траву, рассмотрел нас всех внимательно, как бы пересчитывая, послушал, о чем разговор, и заключил: «Дело молодое, гуляйте, ребята, только овес кругом не спалите». И пригласил на субботу в свою баньку. После бани он поставил нам на стол большую плошку меду: «Ешьте ребята, сколько хотите. Этого добра не жалко». Потом угостились нашим спиртом из тайных фондов Кукка, и старик рассказал нам немного свою жизнь. Он остался в Лейси после войны. Демобилизовался и женился на эстонке. С тех пор работает маячником. Вечером зажигает небольшой маячок в порту Трийги, утром с восходом солнца гасит его. Маяк доживает свой длинный век. Скоро на его месте установят автомат. «А мне,— говорит Иван Макарович,— пора на покой». Дед, у которого мы живем, оказывается, его большой приятель. Со всей деревней он неплохо ладит. Выглядит Иван Макарович как все люди моря и побережья: темная кожа, глубокие морщины на лице, глаза как бы выгорели от солнца, но взгляд острый, нелегкий. Говорит осторожно, как бы все время соглашаясь с тобой, приговаривая по-эстонски: «Яа... яа...» («Да... да...»).

Эстонский язык ему так и не дался, но названия рыб всегда говорит по-эстонски: ахвент, зауг, лест,— окунь, щука, камбала, ангерьяс — угорь... Жизнь прожита у него не простая. Слушали мы ее как сложный, тяжелый роман. «Съезжу— говорит, Иван Макарович,— летом в отпуск к своим в Псковскую область, наговорюсь, посмотрю, как они там живут, и уже к концу отпуска тянет меня обратно домой, в Лейси».

К нашей экспедиции он присматривался с первых дней в порту Трийги, и так получилось, что теперь знал о нас почти все: мы ведь никуда, кроме моря, не ходили. «Скучновато тут у вас, отец,— говорю я ему,— и девчонок не видно, посмотреть-то не на кого...» Иван Макарович вдруг нахмурился и с неожиданной неприязнью ответил мне: «Плохо ты смотришь, парень, посмотреть есть на кого, а только приезжают иногда такие, вроде вас, молодые, веселые, нашумят, набедокурят — и поехали дальше. А нам тут оставаться и расхлебывать». Таких слов долго не забудешь, потому что в них правда, и я не обиделся.

На День рыбака решено было показать «небольшое шоу» для местных школьников. Они пришли к нам на судно из Лейси под вечер, возглавляемые молодой привлекательной учительницей музыки и пения Ирье Синиавски. Но Рихо уехал в Таллин, я приболел, а Юрн Кольг должен был как бы «командовать всем парадом». За нас отрабатывал Вадим. Сначала он открыл перед школьниками трюм со снаряжением. Конечно, они не знали, что копаться в трюме, перебирать гидрокостюмы, акваланги, мешки с запчастями было его страстью и привилегией. Каждое утро он радостно спрыгивал туда, немного «надувался» и делался задумчивым и строгим. Потом он подавал все снаряжение на палубу, и это выходило у него так, как будто он отрывает все это от сердца. У нас было неплохое и очень красивое водолазное снаряжение, подводные ружья и разные заморские светящиеся и сверкающие мелочи — ребят это все, конечно, заинтересовало. В заключение планировался групповой спуск, но Вадим один прыгал в воду, как это делают в фильмах Кусто и западных кинодетективах, искал под водой веху по компасу, говорил, что чуть не захлебнулся от волнения, и наконец школьники оставили его и наш МСТБ-37 в покое. Кроме Ирье: она осталась и всю ночь играла у нашего костра на аккордеоне старые и новые эстонские песни. Вообще Ирье оказалась очень веселой, незабываемой девушкой.

А на другой день случилось замечательное событие. Когда-то мы пообещали с Вадимом для всей экспедиции настреливать каждый день рыбы вдоволь и всех сортов. Думали, конечно, так: острова, рыба непуганая, стрелять некому, а мы — мы вот они! Но поплавал я, поплавал Вадим, и странно: среди удивительных, редких для Балтики зарослей в заливчиках, под пирсом, в разрушенной, затонувшей барже мы не встретили ни одной приличной рыбины. Тогда я сложил оружие, а Молотов взялся за спиннинг. С утра полил серый дождь, а под вечер вдруг выглянуло солнце, и мы разбрелись кто куда. Я пошел в лес искать косулю: как-то светлой ночью мы собирали там хворост, и я тогда заметил ее следы. Удивительно, что теперь я увидел ее саму на том же месте. Она стояла на мокрой сумеречной дороге и без страха, прямо смотрела на меня. Ушла спокойно, будто не от меня, а просто так. И тогда я услышал, как в мокром черничнике рядом с дорогой что-то зашуршало. Взамен и утешение мне попался ежик, с ним я и вышел из лесу к дому.

Во дворе уже издали было видно большое оживление. В этот вечер Вадим спас свою рыбацкую честь. Он стоял посреди двора и едва держал на вытянутой руке огромную щуку с желтым хвостом, который действительно волочился по земле и был весь в песке и сосновых иголках. Ненаглядную рыбину положили на траву и ходили вокруг, ахали и удивлялись. Ежа моего никто не заметил, и он тихо «смылся». Щуку снимали, извели на нее целую фотопленку, которая, как и положено в таких случаях, засветилась. Собрались старожилы, старые рыбаки и признали, что такой щуки здесь давно не попадалось, но разглядели, что один бок у нее был кем-то сильно покусан, вероятно, тюленем. Вечером у костра мы решили, что щука эта подозрительная и, наверное, сама сдалась, надоело ей жить-страдать. Но у Вадима был наготове рассказ с подробностями, «как она его, а он ее», как лодку чуть не опрокинула — в общем, отбился Молотов. Эту рыбину мы ели во всех видах два дня, как теленка. Никакого мха на ней не было. На следующий день мы снова начали заплывы с подводными ружьями. Теперь сменился ветер, и рыба стояла везде: у пирса, в затонувшей барже, между камнями в траве и в открытом море, но мелкая. Набрали мы немного окуней отовсюду, я неожиданно нашел в камнях и выбросил на палубу небольшого угря. Вадик загорелся, едва отдохнул и тоже поплыл искать угря. Часа два я готовил обед, лежал на трюме и посматривал в море, наблюдая за Вадимом. Как часто бывает на островах, неожиданно пошел ветер. По бухте побежали белые барашки. Камни, которых здесь из воды торчит очень много, заблестели, и я по-

терял Молотова из виду. Прошло часа три, а его все не было. С моря подходил водолазный бот, и я стал бояться, что, может, Вадик попал под винт в открытом море. Стали собираться к обеду наши ребята, бот отшвартовался, и теперь все водолазы, наша экспедиция, рыбаки и зеваки на пирсе искали между камней и волн голову подводного охотника Молотова. Появился Кукк. Этого я боялся больше всего.

«Хэйн,—залепетал я,—Вадим имеет такую привычку уплывать на пять-шесть часов, но он самый осторожный среди подводных охотников, более опытных, чем он, нет».

«Тогда где же он, покажи?» — строго спросил Кукк.

«Может быть, я надену акваланг и посмотрю под водой в округе, под пирсом?» — неожиданно для себя предложил я.

Хэйн с ужасом посмотрел на меня, и я прочитал в его глазах: «Только не это». Кукк и Кольг начали действовать. Как раз с моря на моторке подходил рыбак, ему быстро объяснили, в чем дело, и он сразу взял нас на борт. Мы вышли в бухту и стали ходить кругами вдоль берега. Везде блестели на солнце камни, везде бились белые волны, нигде Вадима не было. Я все передумал и заметил, что ищу в душе и складываю какие-то оправдательные слова для жены Молотова — Нелли. Ветер крепчал, из-за мыса пошли крупные волны.

Вдруг все на пирсе закричали, замахали руками, рубашками, и мы помчались обратно к порту. Вадим сидел на палубе, измученный и счастливый. Он был завален всякой рыбой и теперь с интересом слушал о том, как его ищут уже много часов. А плавал он рядом, но в панике никто из нас между волн и камней не смог его различить. Он даже встал на мели и разглядывал наш переполох на пирсе, но знать не знал, что все это из-за него. Угря он так и не поймал.

Мы с Вадимом приготовились к «разносу» и в ожидании тягостной беседы насупились, приготовились слушать насчет «утраты бдительности». Но все было тихо. Вечером в сосняке мы всей «артелью» коптили как ни в чем не бывало молотовский улов — гору больших окуней, щук, судака, и тут Кукк сказал мне, что для него самым страшным была не пропажа Вадима, а то, что я вдруг предложил «понырять с аквалангом в округе». Тут же он объявил нам, что впредь разрешает охотиться только с лодкой, по всем правилам. У нас с Вадимом вытянулись лица, потому что оба считали эти правила для начинающих, «для салаг». Пришлось согласиться, и мы «взаправду» остепенились, охотничье «помешательство» кончилось.

Я огляделся. Оказывается, все это время рядом с нами жил и работал образцовый человек и аквалангист Рихо Кристьюхан. Спокойный, уравновешенный, он стал для нас примером. Пока судно носится между островами, он неподвижно часами разглядывает берега или отрешенно сидит в задумчивости, как йог в нирване. Рихо явно наслаждается отпуском на море, на палубе научно-исследовательского судна, где легко дышится, где, что бы ни случилось, все интересно и где месяц работы сам собой незаметно превращается в один большой и прекрасный для измученного горожанина день отдыха среди загорелых счастливчиков и мокрых концов на палубе, когда все знакомо пахнет морем и раскаленной на солнце резиной, когда с шипением и тяжелым вздохом включается на подзарядке акваланг, когда ты много раз на дню висишь у трапа, чувствуя, как обнимает тебя холодная вода, как собираешься с духом, чтоб нырнуть в зеленую глубину. Такая славная работа, о которой многие аквалангисты мечтают всю зиму и многие годы. Рихо плавает в таких экспедициях уже несколько лет и наверняка еще не один отпуск оставит на палубе.



Рихо работает в Академии наук ЭССР, часто бывает в командировках в Москве и хорошо говорит по-русски. Мы же с Вадимом, прожив полжизни в Эстонии, знаем по-эстонски только простые, обиходные слова. Мерике, например, хочет, чтобы с ней говорили только по-эстонски, особенно во время работы.

Вообще она оказалась человеком очень суровым и требовательным во всем. Она как бы тайно направляла нашу беспорядочную, мужскую жизнь в необходимое русло. Молотов назвал ее «старшиной». Так это звание и осталось за ней.

Она хорошо готовила хитрые и красочные эстонские обеды. Тут и огурцы в уксусе, и тушеные овощи со свининой, и бутерброды с килькой и зеленым луком, и бессмертные «мульгикапсад», и рыба в загадочном соусе. Расставит все на трюме — красиво посмотреть. Солнце печет, мы сидим загорелые, все нахваливаем. Но была у нее одна слабость — гоголь-моголь. Каждый день.

Последнюю ночь в Триигн мы почти не спали. К утру я остался один у костра, дров не подкладывал, а ворошил потихоньку головешки. Из-за моря незаметно вышел красный шар солнца, пригрело, и я задремал.

«Милейший,—вдруг, слышу, кто-то зовет меня, — в баню-то придете?»

Я очнулся. На дороге стоял Иван Макарович и улыбался.

«Спасибо, отец,— говорю я ему,— придем, обязательно придем».

Иван Макарович сел на велосипед и не спеша покатил домой. В тишине утра долго было слышно, как хрустела под шинами дорога. Ребята на сеновале не спали и слышали наш разговор. Это слово «милейший» сразу прилипло ко всем, и летало у нас на палубе все лето: «Милейший, подай глубиномер», «Милейшие, чья очередь идти за водой?», «Милейший, почему не закрыл трюм?», «Поплавай за меня сегодня, милейший, я что-то ослабел», «Что приуныл, милейший?».

Начало лета было жаркое, полное безоблачных дней, и всюду под ногами хрустели божьи коровки. Откуда их столько взялось? Они рассыпались по воде, плыли на щепках и травинках, они облепили все наше судно. Однажды, сидя на корме в полудреме, я вдруг подумал: не в Африке ли мы? Когда берега круты и зелены, когда под тобой теплое море и жарко на палубе, нетрудно вообразить, что ты в Аф-



рике. Я рассмотрел в бинокль у берега маленький отряд пионеров с вожатой. Они плескались среди камней, черные, шумные и веселые, как туземцы. Чуть дальше у воды стояло стадо коров. Может быть, это были буйволы и лев караулил их на обрыве за камнями? Дальше тянулись бесконечные камни, пески, лес. Мы все выросли у этого моря и с детства стремились куда-то вдаль, но когда смотришь на пустынное побережье, необитаемые зеленые острова, вдруг понимаешь, что Эстония только на карте маленькая, а для тебя она огромна, и не обязательно ехать на край света, чтоб узнать смысл жизни или увидеть диковинное. Все здесь есть. Надо только остановиться и посмотреть внимательно. Я чувствовал это давно и не заметил, как моя старая мечта о подводной лодке капитана Немо сменилась на мечту о воздушном шаре, чтоб лететь и смотреть, а потом приземлиться и поставить дом.

Есть и другая мечта — понырять в затонувшие корабли. «Хэин,— говорю я,— может быть, сплаваем на кладбище кораблей?» «Может быть»,— отвечает Кукк, что означает: не приставай с глупостями. А мне представляется, что я стучу кулаком по пароходной обросшей трубе и оттуда выглядывает заспанный страшный змей — угорь метров десяти: «В чем дело?» А потом я пробираюсь в темную рубку и там нахожу страшный, непробиваемый ящик. Мы ломаем его на палубе МСТБ-37 и обнаруживаем подлинные дневники барона Мюнхгаузена или по крайней мере небольшие золотые слитки. Мы сразу же мчимся в Таллин и дарим их государству, а оно строит нам в дар огромный воздушный шар, и если останется,— маленькую подводную лодку. Мы будем летать семьями на воздушном шаре куда глаза глядят, и я буду показывать своей дочке сверху: «Ты посмотри, Анечка, как красива эта земля, как все правильно на ней и спокойно». А подводную лодку я бы подарил Дому пионеров или какой-нибудь передовой комсомольской организации города Таллина — пусть дерзают.

Из Трийги мы перебрались в Верги, поставили палатку прямо у порта под соснами и стали ждать погоду и экипаж. Наш МСТБ-37 был приписан к Верги, и в этом маленьком чистом поселке жили капитан, штурман и механик. Капитан Мяиник, незлобивый и усталый человек, никак не мог собрать необходимого кворума для выхода в море — три диплома на борту, как говорят моряки. С утра наша экспедиция собиралась на палубе и все с надеждой смотрели на дорогу час, два — не появится ли механик. На другое утро также ждали штурмана как спасителя, а судно стояло.

Мы бродили как неприкаянные по поселку. За заборами аккуратных, чистых домов люди копались в огородах, доили коров, с пирса везли свежую рыбу. В центре Верги, прямо у правления колхоза, на зеленой траве лежал океанский трал размерами с половину футбольного поля, рыбачки не спеша чинили его и посмеивались над нами.

Начинались первые осенние штормы, иногда с утра появлялся легкий туман или моросил дождь. Но в одно холодное августовское утро и погода и экипаж вдруг совпали — оба были в порядке.

Мы тут же, не мешкая, отдали концы и вышли из порта с большим желанием наверстать упущенное. Как и в Трийги, главное было начать, чтоб снова летели в ванну с надписью «Альгология» марлевые комочки с образцами водорослей, чтоб снова шлепали ластами по палубе усталые аквалангисты, чтоб за 10 дней сделать 100—150 станций.

В экспедиции произошли замены: вместо Рихо и Юри появились новые «работнички» Олев Вава и Тыну Вуиь. Оба они в прежние годы работали в таких экспедициях, но этим летом им плавать с аквалангом еще не приходилось, и им обоим поскорей хотелось расплаваться, снова вспомнить и полюбить акваланг. Первым собрался идти в воду Тыну. По тому, как аквалангист готовит себя к погружению, можно достаточно точно определить его опыт и класс. Весь ритуал Тыну исполнил очень «опытно», красиво, и я с радостью отметил про себя, что в нашей экспедиции появился отличный аквалангист. А мы стояли вокруг него в бушлатах, куртках и мерзли. С моря сильно тянуло холодом, как будто лето уже прошло и там, за туманным горизонтом, лежали льды. В открытой Балтике, не между островами, а тут, у Верги, вода белее, много чище и холодней. Когда Тыну шел из-под воды с первыми пробами, я увидел его ласты и светлые баллоны уже на глубине 10—12 метров. Он выбрался на палубу и красными, окоченевшими пальцами едва смог снять с лица маску, запотевшие стекла приборов на руке показали: температура воды—1°, глубина—21 метр. Тыну дрожал, и в бороде его застряли те же холодные белые капли балтийской воды. Когда же мы взяли обратный курс на Верги, Тыну, переодевшись в рубке, сел есть большой ложкой мед и малиновое варенье. Эти банки Кукк выдавал из своих личных домашних запасов специально и только для водолазов. Даже сам не ел. К вечеру с моря явилось то, что так холодно угрожало нам днем,— туман, волна, дождь. И было видно: это надолго.

Мы разожгли у палатки большой костер и мрачно обсуждали свое положение.

От сырости и шума моря захотелось под крышу, в уют, и мы пошли в клуб. Он стоял под широкими желтоствольными соснами у шоссе. К началу сеанса из вечерней темноты отовсюду выезжали на велосипедах и «Волгах» дачники. Местные являлись на мотоциклах и пешком. Когда набралось ползала, завклубом, бойкая девушка, раздала всем билеты без обозначения мест и рядов, и началось кино. Давали «Сестру Керри» под шум моря и сосен. На улице капал дождь, и казалось, что эта печальная история когда-то случилась здесь, в древнем-древнем Верги.

В клубе нас осторожно и с интересом разглядывают. Все-таки команда из пяти здоровых приезжих парней и в центре хрупкая невысокая Мерике — это само по себе для маленького поселка уже кино. Особым интересом у девушек пользовался Тыну. Он у нас был самый красивый — всегда в водолазном свитере, с бородой. Волосы у него кудрявые, смотрит соколом. Мы же, «скромные женатики», старались

поскорей влиться в общую массу, вели себя не геройски, а жались друг к другу на клубной скамейке, как новобранцы. Вокруг нас образовывалась некотopая «мертвая зона», пустота, но иногда дачницы подбадривающе хихикали, прыскали неизвестно отчего, и стало ясно, что после кино не хватает танцев, но их не было, и мы вечером, удрученные и «несчастные», забились в сырую, холодную палатку.

С утра опять штормило. Ветра почти не было, но из тумана прямо на нас неслись одна за одной белые стены сердитой балтийской волны. На завтраке Кукк спел нам песню, которую будто когда-то слышал от одного студента-таджика на университетской практике: «Дует, дует ветерок, когда дует, когда нет... Мой Таджикиста-а-а-н!» — и отпустил нас на все четыре стороны. «Народ» поехал в соседний поселок Вызу на людей посмотреть и себя показать, а я остался в палатке. Сел клеить гидрокостюм и ласты. Все шесть аквалангистов нашей экспедиции пользовались моим снаряжением все лето, и мне пришлось до вечера «зализывать» швы, трещинки, старые заплаты и шнуровки.

Вечером я в одиночестве гулял по Верги и заметил, что в каждом дворе установлен якорь, большой или малый, а над ним горящий фонарь. Каждый хозяин это делал по-своему, но везде непременно так было, как будто верноподданные жители побережья исполняли некий грозный указ, но вот чей? Не самого ли Нептуна?

А утром явилось солнце. Лучи его проникали сквозь палатку, будили, кругом пели птицы, и мы сами, как жаворонки, радостно выпорхнули на поляну. Залив в Верги ворчал и еще шумел вовсю, но видно было, что в открытом море волна затихает и через несколько часов можно будет попробовать выбраться из порта. Экипажа не было пока видно, и Кукк на моторке вместе с Тыну и Олевом отправился делать береговые станции, собирая пробы на небольшой глубине. Нас с Вадимом он отпустил поплавать в округе с ружьем, поохотиться.

Для подводной охоты Верги внешне идеальное место. Берега усыпаны крупными валунами, под водой много фукуса, щели, ниши, светлая вода. По утрам местные рыбаки достают из мереж толстых темно-синих угрей, тут же в ящиках на пирсе и окуни и камбала — все есть. А у нас, у подводных охотников, почти ничего. Выбираем разные места — красиво, заманчиво и пусто. Один рыбак, наблюдавший с берега за нашими «бултыханиями», утешил и разъяснил: «Ветер не тот, рыба ушла от берега, а в мережах — это просто ночные бродяги».

Зарекаясь грешить, мы ныряли и к колхозным мережам — посмотреть на чужие богатства. Мережа похожа на несколько вставленных одна в другую чернильниц-непроливашек. Рыба идет только вперед, в сужающийся тоннель и оказывается в плотном кутке, откуда уже нет ей дороги назад. Однажды Вадим, наткнувшись в море на мережу, подозвал нашу лодку к себе: «Ты посмотри, какой змей!» — возбужденно говорил он. Я с лодки положил маску на тихую поверхность воды, и глубина сразу прояснилась. Там, внизу, в сетке кутка тихо кружил огромный синий угорь. Он осторожно и как бы не спеша проверял головой ячейки и узлы этой хитрой ловушки, своей последней тюрьмы. Вадим ревниво смотрит на меня, а я вижу в воде рядом с мережей его подпрыгивающие, возбужденно летающие ноги в ластах и чувствую, что он и ногами видит «своего» угря, он горит у него в глазах, удивленных и восторженных. Вадим — настоящий охотник, и понять его может только охотник, который знает, что большой угорь, которого ты встретил однажды в море, долго живет в твоей памяти, как маленький царь. Ты мысленно продолжаешь с ним борьбу или говоришь счастливчику, если он от тебя ушел: «А если бы я подождал, когда ты весь выберешься из травы и стрельнул бы поближе к голове, ты бы не ушел, не смог, ведь так? Я бы прижал тебя ко дну — и все, никакая сила, ни твоя, ни другая, нас бы не разлучила до берега».



На другой день своеобразно повезло и мне. Я выплывал из портовой бухты в открытое море. Сильно «молотил» ластами, на ходу заряжая ружье и обдумывая маршрут. Внизу промелькнуло несколько мереж, и тут я увидел, как у самого входа одной из них в нерешительности замер угорь. Он скользнул в первую широкую часть ловушки, настороженно повис у главного тоннеля и вдруг передумал и тем же ходом вышел обратно в море, на свободу. Медленно проплыв прямо подо мной, он уходил в глубину. Я догнал его и почти в упор выстрелил, но и секунды не сидел он на гарпуне. Я метался в туче ила и водорослей и не верил в случившееся — ни в то, что я его видел, ни в то, что все кончено и он навсегда ушел от меня. Угорь был настоящий гигант — черный и толстый, как самоварная труба, больше метра длиной.

Наш механик сломал ногу, прихромал на пирс прямо с гипсом. Кукк взялся за голову.

А на море стоял штиль, светило солнце, и я снимал в придорожных кустах на заброшенном покосе цветную фотосерию «Бабочки». Было снова лето, наше время таяло, как мороженое, и Кукк объявил ультиматум колхозу: «Дайте механика, или мы уходим». Механик сразу нашелся, и мы двинулись в сторону Таллина. Многие станции пришлось сократить, отложить на следующий год, но главная работа была намечена именно на пути из Верги в Таллин. Мы продолжали сбор водорослей траверсами, то есть брали на различных участках побережья несколько точек по прямой от берега до глубины 20 метров, до границы растительности. Первая точка в море может быть холодной и пустынной, ближе к берегу появляется коричневый фукус — кудрявые безбрежные его поля, а к самому берегу, к зеленым отмелям наше судно подойти не может, и тогда мы пересаживаемся на моторку. Аквалангист падает с нее, как бомба, за борт, лодка качается, едва стоит, но сверху хорошо видно, как он, осмотрев район и выбрав наиболее характерный участок растительности, накладывает рамку и тщательно собирает в мешок все, что растет на этом ограниченном участке. Потом он откупоривает бутылочку с номером, берет пробу воды и, подняв все это над головой, выныривает у борта. Обычно Кукк такими вы-

ездами руководит сам, чтоб лично контролировать безопасность и чтоб заодно, наверное, рассмотреть сверху в светлой воде, как же мы работаем. Однажды мы так на моторке втроем — Кукк, Вана и я — подошли к берегу около древней крепости Толсе. Среди живой переменчивой природы она высится, как застывший кусок времени, и, кажется, сама природа травой и деревцами на развалинах хочет укрыть эту холодную древность.

Я упал в воду, в дивное царство фукусов, раздвинул траву, просмотрел несколько щелей под валунами — нет ли угря, окушка — попутно. Собрал пробы, лег на дно и затих. Шлюпка была прямо надо мной. Я хорошо видел из-под воды сквозь блестящую поверхность головы моих товарищей. Олев дремал с журналом у мотора, Кукки смотрел вниз на дно. Светило солнце сквозь воду, и было очень тихо. Много лет плавая под водой, я ни разу не догадался полежать без движения, затихнуть и послушать море. Я остановил дыхание, мой акваланг на спине сразу же умолк. Дно тихо-тихо скрежетало, постукивало, шуршало, и было тепло, как в Африке. Я отплыл в сторону и поднялся на ноги. Воды мне было до подбородка. На крепости Толсе пели птицы. «Чего ты улыбаешься?»—удивленно спросил Олев, очнувшись от дремоты. Я улыбался потому, что чувствовал — это для меня лучший день лета, лучший день экспедиции. Так оно и оказалось.

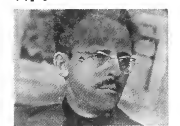
Что можно найти и увидеть на дне Балтийского моря? Я прыгаю с судна спиной вниз на баллоны и в таком положении сразу глубоко проваливаюсь вниз. В полумраке пятнадцатиметровой глубины из дна торчат два якоря, они лежат почти друг на друге. Один метра в два, древний, широкий, основательный. Другой — узнаю — современный, легкий, шлюпочный и еще свежей сварки. Как они там встретились, угодили почти в одно место в открытом море? Около Кабернееме я минут пять перебирал на дне крупные немецкие пулеметные гильзы. Нет ли рядом еще чего-нибудь поценней? Иногда вытряхиваешь мешок с пробами водорослей, и вместе с камушками, ракушками и даже бычками вдруг выпадает на палубу кусок полиэтилена — цел, невредим, и лежать бы ему там на дне еще тысячу лет.

Дно Балтики не Африка, а Европа. По плану лаборатории мы обследовали и участки побережья в Кунде и в Маарду. К Кунде мы подошли под вечер. На далеком берегу грозно, как пушки, в небо глядели трубы.

Когда я погружался у Кунды, меня поразила мутная, безжизненная вода в этом заливе: на глубине 4—5 метров не было никакой заметной растительности...

...Сейчас я часто вспоминаю, как иногда в хорошем расположении духа Кукк усаживался на трюм, брал комочки водорослей, принесенных нами со дна, и, бережно расплетая эти зеленые, коричневые веточки-плети и неуловимые паутинки, с улыбкой рассказывал нам о них. То, что раньше я называл единым простым словом «трава», были его старые, разные и многочисленные знакомые, почти родня — с именем, отчеством, фамилией и родословной. При этом он часто употреблял два главных, важных для него слова: «МОРСКАЯ БОТАНИКА»,— и я полюбил их. За особую мягкость и благозвучие, за то, что от них веет на меня покоем, солнцем и морем. И теперь мне кажется: скажи ты любому подводному охотнику, аквалангисту, любителю природы эти два слова: «МОРСКАЯ БОТАНИКА»,— и сердце его радостно дрогнет, отзовется, как на мирный пароль, с которым ты входишь в природу, в навсегда милые сердцу воды Балтики.

Новых успехов вам, друзья!



Государственная премия СССР 1975 года в области литературы и искусства присуждена Борису ВАСИЛЬЕВУ — автору повести и сценария «А зори здесь тихие...».

«А зори здесь тихие...» — первое произведение прозы Бориса Васильева — было опубликовано в журнале «Юность» № 8 за 1969 год.



Писателю Владимиру АМЛИНСКОМУ присуждена премия Московского комсомола в области литературы и искусства за 1974—1975 годы за сборник рассказов и очерков «Среди людей» и книгу «На рассвете в начале дороги». Многие из премированных произведений впервые были опубликованы в журнале «Юность»:

«Одна из ночей директора» № 7 за 1961 год,
«Жизнь Эрнста Шаталова» № 12 за 1967 год,
«Мальчишки без девчонок» № 12 за 1971 год.



Писателю Аркадию АДАМОВУ присуждена премия на Всесоюзном литературном конкурсе Союза писателей СССР и МВД СССР за лучшее произведение о работниках советской милиции за повесть «Петля», опубликованную в «Юности» №№ 4—8 за 1975 год.

Аркадий Адамов свое первое произведение «Дело пестрых» напечатал в журнале «Юность» 20 лет назад — в №№ 1—4 за 1956 год.

Редакция «Юности» сердечно поздравляет своих дорогих авторов и желает им новых творческих успехов.